



FILE
15340

18+

Анна Вейнар

«Эдем» охваченный огнём

«Автор»

2026

Вейнар А.

«Эдем» охваченный огнём / А. Вейнар — «Автор», 2026

Мирея Эннот остаётся в живых после вирусной катастрофы — но от прежней жизни у неё не остаётся почти ничего. Теперь она Рея Нот, военный медик, которая каждый день сражается, за чужие жизни. Когда в руинах старого мира Рея находит следы проекта «Эдем», становится ясно: эпидемия не была случайностью. За вирусом стоят люди, тайны прошлого и предательство, уходящее к самым вершинам власти. В поисках правды Рее предстоит столкнуться с болью, потерями, надеждой. Это история о мире после конца света, о женщине, ставшей сильнее собственной судьбы, о любви, родившейся среди руин, и о том, как даже после смерти цивилизации у людей остаётся шанс начать всё заново

© Вейнар А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Боль	5
Глава 2 Тени прежней жизни	8
Глава 3 Пепел	14
Глава 4 Выход	21
Глава 5 Чужая кровь	28
Глава 6 Эдем	35
Глава 7 Правда Берга	42
Глава 8 Засада	49
Глава 9 «Рубеж»	58
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Анна Вейнар

«Эдем» охваченный огнём

Глава 1 Боль

Боль пришла не сразу. Сначала была ватная, звенящая пустота, а уже потом — раскалённая игла, прошедшая сквозь виски и затылок.

Я открыла глаза, но фокус поймала не сразу. Над головой плыло мутное пятно тусклой лампы в металлическом плафоне. Воздух в помещении был тяжёлым, пропитанным едким коктейлем из хлора, озона от работающего рециркулятора и того специфического, сладковатого запаха, который навсегда въедается в поры любого полевого медика. Запах чужой крови и угасающей жизни.

Медблок сектора «Эгида». Значит, меня всё-таки вытащили.

Я попыталась пошевелиться, и тело отозвалось глухим, ноющим протестом в правом боку. Бинт был тугим, но ткань под ним уже начинала влажно темнеть. Осколочное. Оно не задело артерию, и это уже маленькая победа.

— Лежи, Нот. Рана свежая, шов может разойтись.

Голос Дамира, старшего ординатора нашего батальона, прозвучал из полумрака у входа. Он стоял, опираясь плечом о косяк, и листал планшет. Лицо у него было серым, с глубокими тенями под глазами — лицо человека, который не спал полноценно последние трое суток.

— Я не спала, Дамир, — хрипло отозвалась я, сглатывая вязкую слюну. — Просто лежала.

— Разница невелика, когда у тебя температура тридцать восемь и девять.

Он подошёл к койке, поставил на тумбочку пластиковый стаканчик с водой и две таблетки.

— Жаропонижающее и антигистаминное. Выпей.

Я подчинилась, с трудом приподнявшись на локте. Вода была тёплой, с привкусом пластика, таблетки я проглотила. Жадно запивая водой.

Мне двадцать восемь. Возраст, когда в прежней, безвозвратно утонувшей в прошлом жизни я должна была думать о дипломатических приёмах, наследственных землях и балах. Мирея Эннот. Последняя из королевской династии, чьё имя высечено на мраморных плитах столичных соборов.

Но мрамор не спас от лихорадки. А корона не защищает от вируса.

Теперь я Рея Нот. Двадцать восемь лет, из которых последние три — это бесконечная война за каждый вдох.

— Как там наши? — спросила я, отставляя стакан. Голос звучал чужим, скрипучим.

Дамир помедлил. Он всегда медлил, прежде чем озвучить потери. За три года мы научились читать это молчание лучше любых слов.

— Трое в реанимации. У лейтенанта Корна пневмоторакс, но дышит сам. А вот гражданских... — он тяжело вздохнул, проводя ладонью по коротко стриженным волосам. — Из семерых, кого мы вытащили из перевёрнутого БТРа, до базы доехали четверо. Трое скончались в пути.

Я закрыла глаза. Трое. Просто цифры в рапорте. Но за каждой цифрой стояли расширенные от страха зрачки, судорожно сжимающиеся пальцы, предсмертный хрип.

— Вирус? — тихо спросила я.

— Нет. Кровопотеря и болевой шок. Тесты на инфекцию отрицательные.

Я выдохнула, чувствуя, как напряжение на секунду отпускает челюсти.

Вирус. Это слово стало главным проклятием нашего времени. Три года назад он выкосил почти семьдесят процентов человечества. Унёс моих родителей, мою семью, мою гвардию, мой дворец и саму идею государства. Но самое жуткое было не в масштабах катастрофы.

Природа даже не чихнула.

Леса стояли зелёные и шумные. Реки были чисты. Птицы пели так же звонко, как и до конца света. Вирус бил исключительно по людям, словно Земля, уставшая от паразитов, бездумно жрущих её ресурсы, включила точечный иммунный ответ. Мы были болезнью, и от нас лечили.

Те, кто выжил — такие как я — обладали редким генетическим иммунитетом. Но это не было панацеей. Иммунитет лишь отсрочивал приговор, а вирус, словно чувствуя наше сопротивление, мутировал с пугающей скоростью. Каждый новый штамм был хитрее, живучее и агрессивнее предыдущего. Учёные «Эгиды» бились над универсальной вакциной, но вирус каждый раз оказывался на шаг впереди.

— Тебе нужен покой, Рея, — голос Дамира вырвал меня из тяжёлых раздумий. — Командование утвердило график, но я лично пойду к майору и выбью для тебя сутки отдыха.

— Майор не согласится, — я медленно спустила ноги на холодный бетонный пол. Голова закружилась, но я стиснула зубы, заставляя мир перестать качаться. — Завтра марш-бросок на восточный периметр. Им нужен каждый медик.

— Завтра марш-бросок отменяется, — сухо парировал Дамир.

Я подняла на него взгляд. В его усталых глазах читалось что-то новое. Не просто усталость. Напряжение.

— Что случилось?

Дамир оглянулся на закрытую дверь медблока, затем подошёл ближе и понизил голос, хотя в палате, кроме нас, никого не было.

— Группа поиска, что работала в сорока километрах от места вашей засады, нашла нечто. Они вызвали нас не по радию, а через закрытый канал. Майор уже там. И он требует, чтобы ты тоже присутствовала. Как только сможешь стоять на ногах.

— Что они нашли? Оружейный склад? Продовольственный бункер?

— Хуже, — Дамир криво усмехнулся, но в улыбке не было ничего весёлого. — Герметичный бокс. Довоенной маркировки. Класс биологической угрозы «Альфа».

По спине, несмотря на лихорадку, пробежал липкий холод.

Контейнеры класса «Альфа» в старом мире использовались только для одного: для экспериментальных патогенов. Для того, что создавалось в закрытых лабораториях, о которых гражданские, и уж тем более королевская семья, даже не подозревали.

— Он был вскрыт? — мой голос предательски дрогнул.

— Нет. Целостность нарушена не была. На нём есть маркировка.

Дамир замолчал, подбирая слова.

— Какая?

— «Проект Эдем».

Я замерла. Это название всплыло из глубин памяти, из обрывков секретных докладов, которые я случайно видела в кабинете отца, когда мне было двадцать. Тогда я подумала, что это просто красивое название для сельскохозяйственной инициативы.

— Насколько я понимаю, — тихо произнёс Дамир, — наш вирус не был карой небесной, Рея. И не случайной мутацией.

Он выпрямился и кивнул в сторону двери.

— Одевайся. Майор ждёт. Нам всем нужно узнать, что именно мы разбудили три года назад.

Я сидела на краю койки, слушая, как гул генераторов базы вибрирует в стенах. За пределами бетонных коробок «Эгиды» шумел идеальный, нетронутый лес. Земля была чиста.

Но теперь я знала, что мы не были болезнью, от которой она избавлялась.

Мы были подопытными. И эксперимент ещё не закончился.

Я встала, игнорируя протестующую боль в боку, и потянулась к своей форме. На рукаве, поверх грубой ткани, была небрежно пришита нашивка:

Р. Нот. Медкорпус.

Никаких Эннот. Никаких корон. Только я, мои бинты, скальпель и тайна, которая, я чувствовала каждой клеткой своего тела, скоро перевернёт наш хрупкий мир во второй раз.

Глава 2 Тени прежней жизни

Форма пахла порохом и чужим потом. Я натягивала её медленно, осторожно — каждое движение правой рукой отзывалось тупой пульсацией в боку, словно кто-то методично вдавливал раскалённый гвоздь между рёбрами. Привычная боль. Из тех, что уже не пугают, а лишь раздражают, как назойливый шум дождя по жестяной крыше.

Пальцы застыли на верхней пуговице кителя. В тусклом отражении металлического шкафчика напротив койки я поймала собственный взгляд — и на секунду не узнала себя.

Женщина в отражении была жилистой, угловатой, с резко очерченными скулами и тёмными кругами под глазами. Волосы — тусклые, коротко обрезанные по плечи, неровно, как всегда после полевой стрижки — падали на лицо грязноватыми прядями. Когда-то они были цвета спелой пшеницы, отливали золотом на солнце, и придворные дамы шептались, что у принцессы Миреи волосы как у Ингрид в молодости. Теперь, после бесконечного мытья щёлочной золой, они потемнели, стали жёстче, утратили тот медовый блеск, который я когда-то считала чем-то само собой разумеющимся. Иногда — раз в два-три месяца — нам выдавали мыло. Настоящее, не щелочное. И тогда, после мытья, волосы ненадолго возвращали свой естественный цвет, и я на мгновение видела в зеркале не Рею Нот, а ту девочку, что кружилась в бальном платье по мраморному полу тронного зала.

Мгновение — и всё. Золото снова гасло под слоем пыли, пота и войны с вирусом.

Я застегнула последнюю пуговицу и выпрямилась.

Сто восемьдесят сантиметров. Рост, которым когда-то гордилась мать. «Ты будешь возвышаться над залом, Мирея, — говорила она, поправляя мне локоны перед зеркалом. — Принцесса должна быть на виду».

Мама

Я непроизвольно прикрыла глаза, и воспоминание хлынуло — горячее, незваное, болезненное. Не как мысль — как физическое ощущение. Запах жасминового масла. Прохладные пальцы на виске. Тихий, мелодичный голос.

Ингрид.

Мама была красива той красотой, которая не кричит, не требует внимания, а просто существует — как рассвет, как первый снег, как отражение луны в неподвижной воде. Светлые, почти белые волосы она носила собранными в низкий узел, открывая длинную шею и фарфоровую кожу, на которой, казалось, никогда не появлялось ни единого изъяна. Придворный портретист однажды сказал отцу, что писать королеву Ингрид — это мучение, потому что ни одна краска не способна передать эту прозрачную, почти неземную хрупкость её облика.

Она была эталоном. Не только красоты — всего. Сдержанности, достоинства, тихой силы, которая не нуждалась в повышенном голосе.

Я помню, как она сидела в своём кабинете — маленькой комнате с высокими окнами, выходящими в розовый сад, — и читала дипломатические депеши, делая пометки тонким карандашом на полях. Отец принимал решения. Мама формировала контекст, в котором эти решения рождались. Она никогда не повышала голос на советах, но когда Ингрид произносила: «Я полагаю, это неразумно», — даже генералы замолкали.

А ещё я помню её руки. Узкие, с длинными пальцами, всегда чуть прохладные. Она клала их мне на плечи, когда я нервничала перед официальными выходами, и от этого прикосновения тревога уходила мгновенно — словно кто-то выключал шум в голове.

«Спина прямая, подбородок ровно, глаза — на линию горизонта. Ты не просишь внимания, Мирея. Оно по праву твоё».

Я помню.

Я всё помню.

Берг.

Отец был другим. Там, где мама была водой — текучей, мягкой, обволакивающей, — отец был камнем. Высокий, темноволосый, с широкими плечами и руками, которые одинаково уверенно держали и перо, и меч. Берг Эннот. Король не по праву рождения, а по праву характера — так говорили о нём даже те, кто его ненавидел.

У него было лицо предводителя. Тяжёлая челюсть, прямой нос, глубоко посаженные тёмные глаза, в которых читались одновременно непреклонность и странная, почти детская прямота. Отец не умел лгать. Это было его величайшей силой и величайшей слабостью. Он верил, что правда — единственный фундамент, на котором можно строить, и требовал этой правды от всех вокруг. От советников, от генералов, от нас с братом.

«Ложь — это фундамент из песка, Мирея. Ты можешь построить на нём дворец, но первый же дождь смывает его. И ты окажешься по колено в грязи, в руинах, без крыши над головой. Говори правду. Даже когда она неудобна. Особенно когда она неудобна».

Я вспомнила, как он учил меня ездить верхом. Мне было девять. Лошадь — огромная вороная кобыла по кличке Гретта — казалась мне живой горой. Я боялась. Отец стоял рядом, положив руку на холку лошади, и смотрел на меня сверху вниз.

«Она чувствует твой страх, — сказал он спокойно. — И она не понимает, чего ты боишься. Для неё ты — маленькое существо, которое пахнет паникой. Перестань бояться — и она перестанет нервничать. Ты ведёшь. Всегда ты».

Я залезла в седло. Упала. Залезла снова. Снова упала. На третий раз отец не стал меня поднимать. Он просто стоял и ждал, пока я встану сама.

Я встала.

С тех пор я всегда вставала сама.

И Эрик.

При мысли о брате что-то болезненно сжалось в груди — не в боку, где осколок оставил свой след, а глубже, в том месте, где, наверное, живёт надежда. Или то, что от неё осталось.

Эрик был старше меня на четыре года. Выше отца — а отец был высок — с тёмными, как у Берга, волосами и мамиными голубыми глазами. Это сочетание делало его лицо странно красивым и одновременно суровым. Он всегда выглядел старше своих лет. В двадцать его принимали за тридцатилетнего. Не из-за морщин — из-за взгляда.

Эрик был серьёзен. Не угрюм — именно серьёзен, с той глубокой, осознанной ответственностью, которая ложится на плечи наследника престола, как невидимый панцирь. Он не жаловался. Никогда. Даже когда отец отправил его на военную службу — за три года до начала эпидемии, — Эрик просто кивнул, собрал вещи и уехал. Без сцен, без упреков, без лишних слов.

Мы редко виделись после этого. Он присылал письма — короткие, сдержанные, написанные тем чётким, почти каллиграфическим почерком, который вбивали в нас с детства. «Служба идёт хорошо. Люди здесь достойные. Береги маму. Скучаю». Вот и всё. Ни жалоб, ни подробностей. Эрик не из тех, кто делится болью.

Последнее письмо пришло за неделю до того, как всё рухнуло. Я даже не успела на него ответить.

Иногда — в те редкие минуты тишины, когда мир переставал стрелять и грохотать, — я позволяла себе думать о нём. Не вспоминать — именно думать. Где он. Жив ли. Нашёл ли убежище. Собрал ли вокруг себя людей — а он умел это делать, умел так, как отец, естественно и без усилий.

Я не знала, выжили ли они. Никто из них. Ни мама, ни отец, ни Эрик.

Связь оборвалась в первые дни пандемии. Столица пала одной из первых — слишком много людей, слишком тесно, слишком поздно объявленный карантин. Дворец, по слухам, был

превращён в полевой госпиталь, а потом — в крематорий. Я не знала, правда ли это. Хотя если быть честной, я не хотела знать.

Но надежда — эта глупая, нелогичная, не поддающаяся никакой полевой медицине субстанция — отказывалась умирать. Она жила где-то под рёбрами, рядом с осколочным ранением, и тихо шептала: «Эрик служил. Эрик был на базе. Военные базы были изолированы. Может быть. Может быть»

Может быть.

Два слова, на которых я держалась, как на тонком тросе над пропастью.

Я посмотрела на свои руки. Сильные, жилистые, с короткими ногтями и мозолями на ладонях. Руки хирурга, солдата, выжившей. Не руки принцессы.

Когда-то я носила перчатки из тончайшей замши на приёмах. Когда-то мои пальцы знали только клавиши фортепиано, переплёты книг и шёлк бальных платьев.

Теперь они знали скальпель, зажим, жгут и спусковой крючок.

Тело тоже изменилось. Из фигуры ушла мягкость — та плавность линий, которая подobaет принцессе и которую так любили запечатлевать придворные художники. Вместо неё пришли сухие, чётко очерченные мышцы предплечий и бёдер, жёсткий пресс под тканью кителя, широкие плечи, не привыкшие сутулиться под тяжестью. Из походки ушла лёгкость. Та невесомая, скользкая поступь, которой учила мама — «ты не идёшь, Мирея, ты плывёшь» — сменилась тяжёлым, размеренным шагом человека, привыкшего нести на себе рюкзак, аптечку и чужие жизни.

Я стала другой. Не хуже и не лучше. Просто другой.

Мирея Эннот умерла три года назад, вместе с дворцом, мрамором и фортепианными сонатами. Осталась Рея Нот. И у Реи Нот не было времени на воспоминания.

Но они приходили сами. Всегда — в самый неподходящий момент.

Стук в дверь медблока вырвал меня из оцепенения — резко, как пощёчина.

— Нот! — голос был незнакомый, молодой, чуть запыхавшийся. — Вас вызывают в штаб. Срочно.

Я моргнула, возвращаясь. Металлические стены. Гул генератора. Запах хлора. Реальность.

— Иду, — я застегнула последнюю пуговицу, одёрнула китель и бросила взгляд на отражение в шкафчике.

Голубо-серые глаза — как лёд на застывшем озере — смотрели на меня из тёмных впадин. Глаза матери. Единственное, что вирус, война и время не смогли у меня отнять.

Я отвернулась и шагнула к двери.

Штаб «Эгиды» располагался двумя уровнями ниже медблока, в бывшем техническом тоннеле, который инженеры батальона превратили в подобие командного центра. Бетонные стены были завешаны картами — бумажными, нарисованными от руки, потому что спутники давно замолчали, а те немногие, что ещё висели на орбите, обслуживали только закрытые военные каналы, доступа к которым у нас не было.

Я спускалась по металлической лестнице, держась за поручень правой рукой и стараясь не морщиться при каждом шаге. Бок горел. Жаропонижающее ещё не подействовало, и мир слегка покачивался, как палуба корабля в лёгкий шторм.

На нижней площадке меня ждал Дамир. Он стоял у двери в штаб, скрестив руки на груди, и при виде меня чуть нахмурился.

— Ты бледная.

— Я всегда бледная.

— Ты бледнее обычного.

— Дамир, — я остановилась перед ним и посмотрела ему в глаза, — я на ногах. Этого достаточно.

Он помолчал секунду, потом кивнул и толкнул дверь.

Штаб встретил нас приглушённым светом и негромким гулом голосов. За длинным столом, сколоченным из необструганных досок, сидели пятеро. Майора Левина я узнала сразу — невысокий, кряжистый мужчина с обветренным лицом и коротким ёжиком седых волос. Рядом с ним — капитан Зарова, начальник разведки, худая женщина с цепким взглядом и вечно поджатыми губами. Остальных троих я видела впервые — двое мужчин в полевой форме без знаков различия и женщина в гражданском, с усталым, но сосредоточенным лицом.

Левин поднял на меня взгляд.

— Нот. Садись.

Я села на свободный стул у края стола. Дамир остался стоять у двери — он всегда так делал на совещаниях, словно не мог заставить себя расслабиться настолько, чтобы сесть.

— Как рана? — спросил Левин. Не из вежливости — из прагматизма. Ему нужно было знать, способна ли я выполнять задачу.

— Терпимо. Шов держит.

Он кивнул и повернул к себе планшет, лежавший на столе.

— Хорошо. Потому что у меня для тебя задание. И отказ я не приму.

Зарова подвинула по столу в мою сторону бумажную карту — крупномасштабную, с нанесёнными от руки пометками. Красный кружок отмечал точку примерно в семидесяти километрах к северо-востоку от базы.

— «Проект Эдем», — произнесла Зарова, и в её голосе не было вопроса. — Ты слышала это название раньше, Нот?

Я почувствовала, как взгляды всех присутствующих сошлись на мне. Тяжёлые, выжидающие.

Обрывки. Папка на столе отца. Бледно-зелёная обложка. Гриф «Совершенно секретно». Я видела её мельком — отец захлопнул папку, когда я вошла в кабинет без стука. Мне было двадцать. Я пришла спросить, можно ли пригласить на осенний бал музыкантов из южных провинций.

«Это не для твоих глаз, Мирея», — сказал он тогда. Спокойно, но с той стальной нотой в голосе, которая означала, что разговор окончен.

Я запомнила только название на обложке. «Эдем».

— Я видела это слово, — медленно произнесла я. — Один раз. В кабинете одного высокопоставленного чиновника. Без контекста. Без деталей.

Левин и Зарова переглянулись.

— Контейнер, который нашла группа поиска, — продолжил Левин, — содержит герметично запааянные капсулы с биологическим материалом и цифровой носитель. Носитель зашифрован, наши специалисты работают над дешифровкой, но уже сейчас удалось извлечь фрагменты. — Он помолчал. — Фрагменты указывают на то, что вирус был разработан. Целе-направленно. В рамках проекта, стартовавшего как минимум за восемь лет до пандемии.

Восемь лет. Мне было двадцать, когда я увидела папку. За пять лет до катастрофы. Значит, проект начался ещё раньше. Когда я была подростком. Когда мир казался незыблемым.

— Нам нужно больше, — Зарова наклонилась вперёд, упираясь локтями в стол. — Контейнер — это фрагмент. Мы считаем, что основная лаборатория проекта находится в этом районе. — Она постучала пальцем по красному кружку на карте. — Бывший исследовательский комплекс. Довоенный. Предположительно — подземный.

— И вы хотите, чтобы я туда пошла, — сказала я.

— Я хочу, чтобы ты возглавила группу, — поправил Левин. — Четыре человека, включая тебя. Медик — обязателен, а ты лучший медик, который у меня есть. И — он замялся, что случилось с ним крайне редко. — И если там действительно лаборатория, нам понадобится чело-

век, который понимает структуру довоенных государственных проектов. Протоколы, иерархию допусков, систему маркировки. Ты — единственная среди нас, кто вырос внутри этой системы.

Он не произнёс «принцесса». Он вообще никогда не произносил этого слова. Но мы оба знали, что он имел в виду.

— Когда? — спросила я.

— Завтра. На рассвете.

Я посмотрела на карту. Семьдесят километров через территорию, кишашую мародёрами, заражёнными зонами и руинами. С осколочным ранением в боку и температурой под тридцать девять.

Из дв

— Состав группы? — сказала я.

Левин едва заметно кивнул. Он знал, что я соглашусь. Он всегда знал.

— Капрал Вессен. Снайпер. Сержант Торик. Сапёр и взрывотехник. И доктор Ким Нара, — он кивнул на женщину в гражданском. — Вирусолог. Она из сектора «Дельта», прибыла сегодня утром.

Ким Нара подняла на меня глаза. Тёмные, внимательные, с тем особым выражением, которое бывает у людей, слишком долго смотревших в микроскоп на вещи, от которых нормальный человек потерял бы сон.

— Рея Нот, — сказала она. — Я читала ваши полевые отчёты. Впечатляет.

— Спасибо, — коротко ответила я.

— Не за что. Это не комплимент. Это констатация факта, что вы до сих пор живы после того, через что прошли. — Она чуть наклонила голову. — Статистически это маловероятно.

— Статистика — утешение слабых, — ответила я и повернулась к Левину. — Мне нужен полный инвентарь снаряжения к двадцати двум ноль-ноль. Медикаменты — по расширенному списку. Если там лаборатория, могут понадобиться средства биозащиты.

— Будут.

— И ещё одно, — я помедлила. — Если мы найдём доказательства, что вирус был создан Кто несёт ответственность за решение, что делать с этой информацией?

Левин долго смотрел на меня. В штабе повисла тишина, нарушаемая только гудением вентиляции.

— Ты, — наконец сказал он. — Ты возглавляешь группу — ты принимаешь решения на месте. Полная автономия. Полная ответственность.

Я медленно кивнула.

— Принято.

Я вышла из штаба и остановилась в коридоре, прислонившись спиной к холодной бетонной стене. Закрыла глаза.

Перед внутренним взором, непрощенный и яркий, встал образ: отец за столом, бледно-зелёная папка, его рука, захлопывающая обложку. И его глаза — на долю секунды, прежде чем лицо снова стало непроницаемым, — в которых я тогда увидела нечто, чему не смогла дать название.

Теперь я знала, что это было.

Страх.

Берг Эннот, король, человек, который не умел лгать, — боялся того, что было написано в этой папке.

«Что ты знал, отец? — подумала я, открывая глаза и глядя в серый бетонный потолок. — Что ты знал и не успел мне рассказать?»

Ответа не было. Только гул генераторов, вибрирующий в стенах, как пульс умирающего мира.

Я оттолкнулась от стены и пошла готовиться к миссии. Шаг был тяжёлым, размеренным — шаг солдата.

Но где-то под рёбрами, рядом с болью от осколка и рядом с упрямой надеждой на то, что Эрик жив, поселилось новое чувство.

Холодная, ясная решимость.

Я найду правду. Даже если она окажется страшнее вируса.

Даже если она окажется страшнее всего, что я потеряла.

Глава 3 Пепел

Сборы — это ритуал.

Не в возвышенном смысле, не молитва и не медитация. Ритуал в самом примитивном, животном значении: последовательность действий, которая удерживает разум от распада. Руки заняты — голова молчит. Так должно быть.

Но так бывает не всегда.

Я стояла у своей койки в казарменном отсеке, методично укладывая рюкзак. Перевязочный материал — бинты, марлевые салфетки, гемостатические губки — в левый боковой карман, к ним же жгуты, два штуки, один резервный. Антисептики — хлоргексидин, повидон-йод — в герметичный пакет, чтобы не потекли на марше. Антибиотики — три курса цефтриаксона, ампициллин на крайний случай, — в жёсткий пенал вместе со шприцами. Анальгетики. Адреналин. Атропин. Промедол — две ампулы, на самый чёрный день.

Руки работали сами. Пальцы знали каждый предмет на ощупь, каждый карман — по размеру и глубине. Три года ежедневной практики превращают любое действие в автоматизм, а автоматизм — в единственное спасение, когда мир вокруг горит.

Я потянулась за хирургическим набором — компактным, в стерильной упаковке, собранным лично мной — и пальцы на секунду замерли над зажимом Кохера.

Зажим Кохера. Второй курс. Кафедра общей хирургии. Профессор Ланге, сухой, желчный старик с трясущимися руками и абсолютно неподвижным взглядом, который заставлял нас часами отрабатывать технику наложения зажима на свиных сосудах.

«Хирург, который думает во время операции, — мёртвый хирург, — говорил он, расхаживая между столами. — Думать вы должны до. Во время — только руки. Руки помнят. Руки знают. Голова — мешает».

Руки помнят.

Мои — помнили.

Пятый курс. Мне было двадцать пять. Весна. Яблони цвели в университетском дворе, и ветер заносил белые лепестки в открытые окна анатомического театра. Мы готовились к выпускным экзаменам — шестнадцать студентов хирургического потока, уставшие, невыспавшиеся, с красными глазами от круглосуточных дежурств в клинической больнице, но всё ещё живые, всё ещё верящие в то, что впереди — жизнь.

Никто не знал, что впереди — конец.

Я училась под именем Мирей Нот. Не Эннот. Отец настоял на этом ещё когда я подавала документы. Сокращённая фамилия, никаких титулов, никаких привилегий. Два телохранителя — на расстоянии, незаметно. Съёмная квартира вместо дворцовых покоев. Стипендия вместо королевского содержания.

«Ты хочешь быть врачом — будь врачом, — сказал отец. — Но врачом, а не принцессой, играющей во врача. Если ты придёшь в операционную с короной на голове, ни один пациент тебе не поверит. И будет прав».

Он был прав. Он почти всегда был прав.

Я училась яростно, жадно, так, словно каждый проглоченный учебник, каждая отработанная техника, каждый час в морге над трупом с формалиновым запахом, въедающимся в кожу, — были кирпичами, из которых я строила свою собственную крепость. Не королевскую — свою. Место, где я была не дочерью Берга и не сестрой Эрика, а просто Миреей. Студенткой. Будущим хирургом.

У меня получалось.

А потом мир кончился.

Первые сообщения пришли в середине апреля. Вспышка неизвестного заболевания в юго-восточных провинциях. Десятки заболевших, симптоматика нетипичная. Министерство здравоохранения выпустило стандартное уведомление — усиление санитарного контроля, рекомендация избегать поездок в поражённые районы. Ничего экстраординарного. Вспышки случались и раньше.

Мы не обратили внимания.

Через неделю счёт пошёл на тысячи.

Я помню — с хирургической, почти клинической отчётливостью — тот момент, когда поняла, что это не вспышка. Не эпидемия. Не пандемия даже.

Это было уничтожение.

Двадцать третье апреля. Клиническая больница при университете. Ночное дежурство. Меня вызвали в приёмный покой — поступил пациент, мужчина, сорок два года, доставлен скорой из жилого квартала. Жалобы соседей на неадекватное поведение.

Я увидела его через стеклянную перегородку, прежде чем войти в бокс.

Он сидел на каталке — крупный мужчина в домашней одежде, футболка с пятнами пота. Но сидел он не так, как сидят обычные люди. Не было в его позе ничего человеческого — ни расслабленности, ни напряжения, ни той бессознательной координации, с которой здоровое тело удерживает баланс. Он покачивался. Мерно, ритмично, как маятник. Руки лежали на коленях, и пальцы мелко, безостановочно тряслись — тремор, настолько выраженный, что было видно через стекло. Голова слегка наклонена набок. Из приоткрытого рта по подбородку стекала вязкая нитка слюны.

Но самым страшным были глаза.

Они блестели. Влажно, лихорадочно, с тем безумным, стеклянным блеском, который я видела на учебных видеозаписях больных бешенством. Зрачки расширены так, что радужки почти не видно. И взгляд — если это можно было назвать взглядом — метался по комнате без фокуса, без цели, как луч фонаря в руках паникующего ребёнка.

Дежурный инфекционист стоял рядом со мной, и я заметила, что его рука, держащая историю болезни, слегка дрожит.

— Что это? — спросила я.

— Не знаю, — ответил он. И в этих двух словах было больше ужаса, чем в любом диагнозе.

К утру в приёмный покой привезли ещё девятерых с идентичной симптоматикой.

К вечеру следующего дня — сорок одного.

На третий день приёмный покой закрыли.

На четвёртый — пришли военные.

Я сложила хирургический набор в рюкзак и потянулась за флягой. Руки не дрожали. Они не дрожали уже давно. Дрожь — привилегия тех, кто ещё способен бояться. Во мне уже давно не было чувства страха

Эвакуация.

Это слово звучит почти цивилизованно. Организованный процесс. Транспорт, маршруты, пункты назначения. На бумаге — гладко. В реальности это был хаос, облечённый в камуфляж.

Военные вошли в университет на рассвете — бронетранспортёры, грузовики с тентами, солдаты в полной экипировке с автоматами наперевес. Нас — студентов-медиков, преподавателей, ординаторов — собрали в актовом зале, том самом, где полгода назад проходил новогодний концерт и Лена Штольц из терапевтического потока пела арию Мими из «Богемы» и все хлопали.

Полковник — фамилию я не запомнила, запомнила только голос, хриплый, как у человека, который кричал без перерыва несколько суток, — объявил, что все медицинские работ-

ники и студенты старших курсов медицинских специальностей подлежат немедленной эвакуации в защищённые зоны. Приказ верховного командования. Обсуждению не подлежит.

— А остальные? — спросил кто-то из задних рядов. — Наши семьи?

Полковник не ответил.

Нас погрузили в грузовики. Шестнадцать человек с хирургического потока, из них — одиннадцать добрались до базы. Пятеро отсеялись по дороге: двое оказались инфицированы и были изолированы прямо в кузове, когда у одного из них началось слюнотечение. Ещё одна — Даша Кирс, двадцать четыре года, лучшая на потоке по сосудистой хирургии, — отказалась ехать без матери. Она выпрыгнула из грузовика на ходу, когда колонна проезжала мимо её жилого квартала. Я видела, как она бежала по тротуару к подъезду своего дома — тонкая фигурка в белом халате на фоне пустой, мертвенно тихой улицы.

Больше я её не видела.

Двое остальных погибли при нападении мародёров на колонну. Это было на вторые сутки марша, когда мы проезжали через пригород. Они выскочили из-за перевёрнутого автобуса — человек десять, может больше, с ломami, охотничьими ружьями, один — с самодельным огнемётom из садового распылителя. Они хотели медикаменты. Или еду. Или просто хотели убивать — к тому моменту граница между этими желаниями уже начинала стираться.

Военные открыли огонь. Бой длился четыре минуты. Мародёров перебили всех. Но шальная пуля прошла сквозь тент грузовика и попала в Матвея Горна — тихого, рыжего парня, который сидел рядом со мной и сжимал в руках потрёпанный атлас Синельникова, словно тот мог его защитить.

Пуля попала ему в шею. Сонная артерия. Я зажала рану руками, давила, кричала — кровь хлестала сквозь мои пальцы, горячая, живая, пульсирующая, и её было так много, невозможно много, Матвей смотрел на меня своими карими, как у телёнка, глазами, зрачки его медленно расширялись, он хотел что-то сказать, но вместо слов изо рта шла кровь, я держала, держала, держала —

Не удержала.

Это была первая смерть, которую я видела не на операционном столе, не в стерильных условиях клиники, а вот так — в трясущемся кузове грузовика, с автоматными очередями снаружи и криками раненых вокруг. Первая из сотен.

Я тогда не плакала. И потом не плакала. Слезы — это роскошь. А роскоши в новом мире не осталось.

Я затянула лямки рюкзака и проверила вес. Двенадцать килограмм. Терпимо, если не считать дырку в боку.

За стеной казарменного отсека кто-то прошёл тяжёлым шагом — смена караула. Часы на стене показывали двадцать один тридцать. До выхода — девять с половиной часов. Нужно поспать. Тело требовало отдыха, бок пульсировал тупой болью, и жаропонижающее наконец начало действовать — температура падала, и вместе с ней приходила свинцовая, обволакивающая усталость.

Но сон не шёл.

Потому что стоило закрыть глаза — и я снова видела их.

Вирус. Три года, а я до сих пор не могла произнести это слово без того, чтобы внутри не шевельнулось что-то тёмное и холодное.

Первые недели после эвакуации мы работали в полевом госпитале при военной базе. Раненые, обожжённые, контуженные — это было понятно, это было знакомо, для этого нас учили. Но потом стали привозить их. Заражённых.

Центральная нервная система. Вирус бил точно, безжалостно и элегантно — если уместно применять это слово к убийце. Он проникал через слизистые — рот, нос, глаза — или через любой контакт с биологическими жидкостями заражённого. Воздушно-капельный

и контактный пути. Два самых эффективных способа распространения, которые природа — или, как мы теперь знали, чья-то рука — могла выбрать.

Инкубационный период — три-четыре часа. Ничтожно мало. Грипп давал сутки-двое. Ковид — до четырнадцати дней. Этот вирус не оставлял времени. Утром ты разговариваешь с человеком, пожимаешь ему руку, пьёшь с ним кофе из одной термокюжки — а к обеду он уже не помнит своего имени.

Первые симптомы были обманчиво мягкими. Лёгкое беспокойство, как перед экзаменом. Человек начинал ёрзать, не мог усидеть на месте, крутил головой, словно искал что-то, но не мог найти. Потом — тремор. Сначала кисти рук, мелкая дрожь, которую можно списать на усталость или нервы. Через час тремор захватывал всё тело.

Потом — глаза. Это было самое страшное. Не потому что менялся цвет или форма зрачка. А потому что из глаз уходил человек. Появлялся тот самый блеск — влажный, безумный, лихорадочный, — и ты смотрел в эти глаза и понимал: там уже никого нет. Оболочка осталась. Лицо, руки, тело — всё на месте. А внутри — пусто.

Через пять-шесть часов начиналось слюнотечение. Обильное, неконтролируемое, как при бешенстве. Заражённый не мог глотать, слюна стекала по подбородку, пропитывала одежду. Походка становилась шаткой, раскоординированной — мозжечок к этому моменту уже был поражён на шестьдесят-семьдесят процентов.

Через семь-восемь часов человек переставал быть человеком.

Я видела это. Много раз. И каждый раз заставляла себя смотреть, потому что отвести взгляд означало признать, что я боюсь. А бояться я не имела права.

Они не кусались. Это было единственное отличие от бешенства, за которое мы цеплялись, как за соломинку, — потому что оно хоть немного снижало уровень кошмара. Заражённые на поздних стадиях не проявляли целенаправленной агрессии. Они не охотились, не нападали, не пытались причинить вред намеренно. Они просто существовали. Бродили. Натякались на стены, на людей, на предметы. Издавали звуки — не речь, не крик, что-то среднее, гортанное, животное мычание, от которого волосы вставали дыбом не потому что оно было громким, а потому что в нём иногда — иногда — проскальзывали обрывки слов. Обрывки того, кем этот человек был ещё несколько часов назад.

Но они были заразны. Каждая капля слюны, каждый выдох, каждое прикосновение мокрой от пота ладони — и вирус переходил к следующему носителю. А потом — к следующему. И к следующему.

Летальный исход наступал в среднем через семьдесят два часа после заражения. Трое суток. Организм, лишённый контроля центральной нервной системы, просто отключался — отказывало дыхание, останавливалось сердце, угасали последние рефлексы. Самый долгий зафиксированный случай — сто сорок четыре часа. Шесть суток. Молодая женщина, двадцать девять лет, спортсменка, превосходное здоровье. Её организм боролся шесть дней, и все шесть дней она была заразна, и все шесть дней она бродила по изоляционному боксу, врезаясь в стены, и из её горла вырывались звуки, в которых врачи, слушавшие записи, узнали колыбельную.

Она пела колыбельную своему ребёнку. Шесть дней. Без сознания, без памяти, без рассудка — но где-то в разрушенных обломках мозга, среди мёртвых нейронов и распавшихся синаптических связей, ещё жила мелодия, которую она пела каждый вечер.

Лечения не было.

Ни противовирусных, ни иммуномодуляторов, ни экспериментальных протоколов — ничего не работало. Вирус мутировал быстрее, чем учёные успевали его секвенировать. Каждый новый штамм обходил защиту, которую выстраивали против предыдущего. Он учился. Адаптировался. Эволюционировал с немыслимой скоростью, словно кто-то заложил в него механизм непрерывного совершенствования.

Теперь, после находки контейнера с маркировкой «Проект Эдем», это «словно» обрело пугающую конкретность.

Я стянула ботинки и легла на койку, уставившись в потолок. Бок ныл, но терпимо. Хуже ныла память.

Военные делали то, что должны были делать. То, чего не мог сделать никто другой. Когда стало ясно, что лечения нет и не предвидится, когда счёт заражённых пошёл на десятки тысяч в день, когда города начали превращаться в бродячие инкубаторы вируса — был отдан приказ.

Я не знаю, кто его подписал. К тому моменту правительства в привычном понимании уже не существовало. Были военные штабы, были зоны контроля, были цепочки командования, уходящие в бункеры, о расположении которых знали единицы.

Зачистка.

Заражённых сгоняли в группы. Это было несложно — на поздних стадиях они не сопротивлялись, не убегали, не прятались. Они просто шли туда, куда их направляли, натываясь друг на друга, спотыкаясь, роняя слюну на асфальт. Солдаты в полных костюмах химзащиты — респираторы, перчатки, бахилы — выстраивали оцепление и направляли их к заранее подготовленным площадкам.

А потом — огонь.

Огонь останавливает многое. Вирусы, бактерии, споры. Прионы. Страх. Сомнения. Совесть.

Температура горения открытого пламени — от восьмисот до тысячи двухсот градусов. При такой температуре белковые оболочки любого патогена разрушаются в течение секунд. Вирус погибал. Гарантированно, необратимо, полностью.

Вместе с носителями.

Я не участвовала в зачистках. Медиков к ним не привлекали — не из гуманности, а из прагматизма: медиков было слишком мало, чтобы рисковать их психикой. Но я видела последствия. Пепелища на окраинах городов. Жирный, сладковатый дым, который поднимался в безоблачное небо и висел над горизонтом днями. Запах, который невозможно спутать ни с чем — запах горелой плоти, въедающийся в одежду, в волосы, в кожу, в сны.

И солдат, которые возвращались после зачисток. Молчаливых. С пустыми глазами. С руками, которые они мыли по двадцать минут, хотя перчатки не снимали ни на секунду.

Некоторые из них потом приходили ко мне. Не с ранениями — с бессонницей, с тремором, с приступами рвоты, которые начинались при запахе дыма. Я давала им таблетки. Разговаривала с ними. Слушала то, что они не могли рассказать никому другому.

Один — сержант, имени не помню, молодой, не старше двадцати пяти — сказал мне однажды:

«Они не кричат, Нот. Вот что самое страшное. Когда огонь их касается — они не кричат. Они уже не чувствуют. Они мертвы задолго до того, как мы их сжигаем. Но я всё равно слышу крик. Каждую ночь. Каждую чёртову ночь».

Я не нашла, что ему ответить. Потому что ответа не существовало.

А потом были звери.

Вирус не трогал животных. Это была одна из его самых жутких особенностей — абсолютная, снайперская видоспецифичность. Птицы пели. Рыба плескалась в чистых реках. Волки выли на луну, и их стаи росли, потому что двуногие хищники, веками контролировавшие их популяцию, стремительно исчезали.

Природа не просто выжила — она расцвела.

И она вернула себе территорию.

Дикие животные начали заходить в города уже через несколько недель после начала пандемии. Сначала — осторожно, ночами. Лисы рылись в мусорных контейнерах. Олени бродили

по пустым бульварам. Вороны — тысячи, десятки тысяч ворон — кружили над крышами, и их карканье заполняло мёртвые улицы.

Потом пришли хищники.

Волки. Медведи. Одичавшие собаки, сбившиеся в стаи — иногда по тридцать-сорок голов, голодные, агрессивные, утратившие страх перед человеком. Они нападали на выживших — на тех, кто ещё пытался найти еду в разграбленных магазинах, медикаменты в аптеках, хоть какое-то убежище в опустевших домах.

Военные пытались контролировать численность. Патрули отстреливали хищников на подступах к защищённым зонам, минировали подходы, ставили ловушки. Но ресурсы были ограничены, боеприпасы — на вес золота, а линия фронта проходила везде и нигде одновременно.

Человечество оказалось зажато между тремя жерновами: вирус, мародёры, природа.

Мародёры.

Они были, пожалуй, хуже всего. Хуже вируса, хуже зверей. Потому что звери действовали по инстинкту, а мародёры — по выбору.

В первые дни это были просто отчаявшиеся люди, хватавшие всё, что могли унести. Еду, одежду, топливо. Потом — оружие. А потом отчаяние превратилось в систему, система — в иерархию, а иерархия — в банды, контролирующие целые районы. Они перехватывали конвои с гуманитарной помощью. Грабили группы выживших, которые пробирались к военным базам. Убивали за банку консервов. За упаковку антибиотиков. За пару сухих носков.

Некоторые — за удовольствие.

Я видела, что они оставляли после себя. Тела на обочинах дорог — без обуви, без верхней одежды, с вывернутыми карманами. Мужчин, женщин, детей. Некоторых — с огнестрельными ранениями. Некоторых — без. Те, что без, были хуже, потому что это означало, что их убивали медленно.

Военные вели с мародёрами войну — настоящую, полноценную, с разведкой, операциями, потерями. Войну, которая шла параллельно с войной против вируса и войной против одичавшей природы. Три фронта. Горстка выживших. И ни одного союзника, кроме собственного упрямства.

Я повернулась на бок — осторожно, оберегая рану — и посмотрела на часы. Двадцать два пятнадцать. Нужно спать. Через шесть часов подъём. Через семь — выход.

Рюкзак стоял у койки, собранный и затянутый. На тумбочке — фляга с водой, две таблетки обезболивающего на утро и сложенная карта с красным кружком в семидесяти километрах к северо-востоку.

«Проект Эдем».

Эдем. Райский сад. Место, где всё начиналось.

Кто-то с извращённым чувством юмора назвал проект по уничтожению человечества именем библейского рая. Или — без юмора. Может быть, они действительно верили, что создают новый Эдем. Мир без людей. Чистый, зелёный, звенящий птичьими голосами. Мир, в котором реки не отравлены, леса не вырублены, воздух не загажен.

Мир, в котором нас нет.

Мне стало холодно. Я натянула одеяло до подбородка — грубое, армейское, пахнущее хлоркой — и закрыла глаза.

Генератор гудел за стеной, как огромное, усталое сердце. За бетонными стенами «Эгиды» шумел лес — живой, нетронутый, торжествующий. Где-то выла волчица, и вой её был чист и протяжен, как нота, взятая на самом краю дыхания.

Я уснула. И мне ничего не снилось — потому что сны закончились три года назад, вместе с яблонями в университетском дворе, и фортепианными сонатами, и белым халатом, и фамилией, которую я больше не носила.

Осталась только тьма. Тёплая, плотная, непроницаемая.
И будильник, заведённый на четыре утра.

Глава 4 Выход

Будильник не понадобился.

Я проснулась за двенадцать минут до четырёх — рывком, без перехода, как выдернутая из воды за шкирку. Тело уже было в режиме боевой готовности, прежде чем сознание успело включиться: мышцы напряжены, дыхание ровное, правая рука инстинктивно легла на край койки — туда, где обычно лежал нож.

Ножа не было. Медблок. Безопасная зона. Можно выдохнуть.

Я выдохнула.

Бок болел меньше, чем вчера, — тупо, вязко, как будто кто-то залил рану тёплым воском. Температура спала. Тело было тяжёлым, непослушным после слишком короткого сна, но голова работала ясно, и это главное. Всё остальное — вопрос дисциплины.

Я села на койку, спустив босые ноги на бетонный пол. Холод привычно обжёт ступни — и это было хорошо. Холод будит лучше кофе, а кофе у нас кончился восемь месяцев назад.

Четыре минуты на туалет. Две — на перевязку: я сняла старый бинт, осмотрела шов при свете фонарика. Края раны сошлись ровно, воспаления нет, гной не сочится. Дамир хорошо зашил. Я наложила свежую повязку, затянула, проверила — давление равномерное, не пережимает, не сползёт при ходьбе. Три минуты — одеться. Термобельё, форменные брюки, китель, разгрузка. Ботинки — шнурки затянуть до упора, лишнее заправить внутрь, чтобы не цеплялись.

Рюкзак. Двенадцать килограмм. Я подняла его, продела руки в лямки, подтянула поясной ремень и качнулась вперёд-назад, проверяя центр тяжести. Нормально. Не идеально — идеально было бы без осколочного ранения в бок — но нормально.

Нашивка на рукаве. Р. Нот. Медкорпус.

Я провела по ней большим пальцем — машинально, как проводят по талисману. Привычка, которую я в себе не одобряла, но не могла искоренить. Каждый раз перед выходом. Каждый чёртов раз.

Коридор нижнего уровня встретил меня гулкой тишиной и жёлтым светом дежурных ламп. В четыре утра «Эгида» спала — не вся, конечно: караулы стояли, рециркуляторы работали, дежурная смена в командном центре мониторила частоты, — но основная масса личного состава ещё лежала на койках, выцарапывая из темноты последние минуты покоя перед очередным днём, который мог стать последним.

Я шла по коридору, и мои шаги отдавались в стенах — гулко, ритмично, тяжело. Шаг солдата.

У поворота к оружейной я столкнулась с капралом Вессеном.

Он стоял у стены, проверяя снайперскую винтовку — разобрал, осмотрел затвор, собрал обратно. Движения точные, экономные, без единого лишнего жеста. Вессен всегда напоминал мне часовой механизм: каждая деталь на своём месте, каждое действие выверено, ничего лишнего.

Ему было, на вид, около тридцати пяти. Среднего роста, жилистый, с узким лицом и светлыми, почти бесцветными глазами, которые, казалось, не моргали. Волосы выбриты до щетины. На левой скуле — старый шрам, тонкий, белый, похожий на нитку. Он не рассказывал, откуда шрам. Я не спрашивала.

Вессен был из тех людей, чьё молчание не напрягало. Он молчал не потому, что ему нечего было сказать, и не потому, что он считал собеседников недостойными. Он молчал потому, что слова казались ему неточным инструментом. Винтовка была точнее.

— Нот, — сказал он, не поднимая головы от оружия.

— Вессен.

— Бок?

— Терпимо.

Он кивнул. На этом наше утреннее приветствие было исчерпано.

Сержант Торик появился через три минуты — вывернул из-за угла широким, раскачивающимся шагом, неся на плече рюкзак, который был раза в полтора больше моего. Торик вообще был раза в полтора больше всего. Под метр девяносто, широкоплечий, с толстой шеей и руками, которые выглядели так, будто могли согнуть арматуру. Лицо — круглое, обманчиво добродушное, с маленькими карими глазами и россыпью старых оспин на щеках.

Сапёр и взрывотехник. Человек, который каждый день работал с предметами, созданными для того, чтобы разорвать его на части, — и делал это с невозмутимостью повара, нарезающего лук.

— Утро доброе, — пробасил он, ставя рюкзак на пол. — Хотя какое оно, к чёрту, доброе. Четыре часа. Нормальные люди спят.

— Нормальных людей не осталось, — отозвался Вессен, щёлкнув затвором.

— Это точно.

Торик повернулся ко мне:

— Ты старшая?

— Я старшая.

Он оглядел меня — быстро, профессионально, как оглядывают снаряжение перед выходом. Оценил рюкзак, разгрузку, повязку, которая чуть проступала под кителем на правом боку. Я видела, как его взгляд на секунду задержался на повязке.

— Дойдёшь? — спросил он без обиняков.

— Дойду.

— Ладно. — Он не стал спорить. Либо поверил, либо решил, что выяснит на марше. И то, и другое меня устраивало.

Ким Нара пришла последней.

Она выглядела так, словно не спала вовсе. Тёмные волосы собраны в тугий узел на затылке, лицо — бледное, осунувшееся, но глаза — те самые, внимательные, микроскопные глаза — были абсолютно ясными. На ней была полевая форма, явно выданная на базе — чуть великовата в плечах, — и рюкзак, к которому был пристёгнут жёсткий кейс с биохимической маркировкой.

— Доброе утро, — сказала она ровным голосом, словно мы собирались на научную конференцию, а не на семидесятикилометровый марш через мёртвую зону.

— Доброе, — ответила я. — Вы готовы?

— Я готова с момента, как прочитала предварительный отчёт по контейнеру. — Она чуть помедлила. — Если содержимое бокса — это то, чем оно может быть, каждый час промедления — это час, который мы подарили следующему штамму.

Торик хмыкнул.

— Весёлая компания.

Вессен промолчал, закидывая винтовку за спину.

Инструктаж провёл Левин лично.

Мы стояли в штабе — том же тоннеле, за тем же дощатым столом. Карта лежала развёрнутая, красный кружок смотрел на нас, как зрачок.

— Маршрут, — Левин провёл пальцем по карте. — Двадцать километров на северо-восток по лесной дороге до руин посёлка Крайнево. Это первый участок, относительно безопасный, наши патрули контролируют периметр до двенадцатого километра. После двенадцатого — ничейная территория.

Ничейная территория. Красивый эвфемизм для пространства, где закон определялся калибром оружия.

— От Крайнево — тридцать километров через лесной массив. Дорог нет. Тропы старые, охотничьи, возможно заросшие. Идёте по компасу и карте. — Левин посмотрел на меня. — Навигатора нет, спутникового сигнала в этом квадрате не ловили уже год. Двигаетесь по старинке.

— Дикае животные? — спросил Торик.

— Последний отчёт патруля — три недели назад. Фиксировали волчью стаю в районе Крайнево, голов двенадцать-пятнадцать. Медвежьи следы на пятнадцатом километре. Одиравших собак в этом секторе давно не видели — волки их вытеснили.

— Мародёры?

— Группа Крюгера, — вступила Зарова. Она стояла в углу, скрестив руки, и голос её был сух, как пергамент. — Последняя информация — действуют южнее, в районе старого шоссе. Но они мобильны. Могут сместиться.

Крюгер. Я слышала это имя. Один из крупных полевых командиров мародёров — бывший военный, дезертировавший в первые месяцы пандемии и собравший вокруг себя группу в сорок-пятьдесят человек. Организованных, вооружённых, жестоких. Они нападали на конвои, перехватывали разведгруппы, вырезали небольшие поселения выживших. Левин дважды отправлял за ними оперативные группы. Обе вернулись ни с чем — Крюгер знал местность лучше наших и уходил, как вода сквозь пальцы.

— Последние двадцать километров, — продолжил Левин, — подъём в предгорья. Исследовательский комплекс — предположительно — расположен в скальном массиве. Вход замаскирован, ориентиры на карте приблизительные. Группа поиска, нашедшая контейнер, зафиксировала координаты, но к самому комплексу не подходила. У них не было ни оборудования, ни полномочий.

— Полномочия теперь у нас, — сказала я.

— Полномочия теперь у тебя, — поправил Левин. — Ты — командир группы. Решения на месте — твои. Связь — каждые шесть часов по закрытому каналу, частота — он написал цифры на клочке бумаги и протянул мне. — Позывной группы — «Скальпель».

Торик фыркнул.

— Кто придумывает эти позывные?

— Я, — сказал Левин без тени улыбки. — Возражения?

— Никаких, товарищ майор.

Левин кивнул и выпрямился.

— Расчётное время марша — двое суток в одну сторону. На месте — до суток на обследование. Итого — пять суток автономного существования. Провизия, вода, боеприпасы — из расчёта на шесть. Сутки резерва.

Он обвёл нас взглядом. Тяжёлым, цепким. Взглядом человека, который отправляет людей туда, откуда они могут не вернуться, — и знает это, и всё равно отправляет, потому что не отправить — хуже.

— Вопросы?

Тишина.

— Выход через сорок минут. Южные ворота. Удачи.

Он не пожал нам руки. Не обнял. Не сказал ничего, что положено говорить в фильмах. Просто развернулся и вышел. Левин никогда не прощался. Он считал, что прощание — это признание возможности невозвращения, а признание — первый шаг к тому, чтобы эта возможность стала реальностью.

Суеверие. Но в мире, где семьдесят процентов человечества мертвы, суеверия — это почти наука.

Южные ворота «Эгиды» представляли собой двойной шлюз из бетонных блоков и стальных створок, извлечённых из какого-то промышленного ангара. Между внутренней и внеш-

ней дверью — камера обеззараживания: ультрафиолетовые лампы, распылители антисептика, решётка в полу для стока. Каждый, кто входил или выходил, проходил через неё — без исключений, без поблажек, без «я только на минуту».

Протокол. Единственное, что стояло между нами и вирусом, — это протокол. Набор правил, написанных кровью тех, кто эти правила нарушил.

Мы прошли шлюз в четыре сорок три. Ультрафиолет резанул по глазам, антисептик влажно осел на лице и руках. Внешняя створка с тяжёлым лязгом поехала в сторону, и в шлюз хлынул воздух.

Другой воздух.

Не тот, что внутри базы — профильтрованный, рециркулированный, пахнущий бетоном, хлоркой и потом сотен живущих в замкнутом пространстве людей. Этот воздух был живым. Прохладным, влажным, напитанным запахами хвои, мокрой земли и чего-то цветочного — сладкого, тонкого, почти невыносимо прекрасного.

Мир за стенами «Эгиды» был красив.

Это было самое жестокое в нём.

Рассвет поднимался медленно, неуверенно, как человек, которого разбудили слишком рано. Небо на востоке наливалось бледным, акварельным розовым, и первые лучи уже цеплялись за верхушки деревьев, поджигая их золотом.

Лес стоял стеной.

Не тот лес, что был здесь три года назад — прореженный, ухоженный, с просеками и грибными тропами. Этот лес вернул себе всё, что у него забирали столетиями. Подлесок разросся до непроходимой чащи — орешник, бузина, молодые ёлки, опутанные плющом и диким хмелем. Старая грунтовая дорога, ведущая от базы на северо-восток, была ещё различима, но трава уже захватила колею, и из трещин в утрамбованной земле пробивались молодые побеги.

Природа не торопилась. Она просто забирала своё. Терпеливо, неуклонно, с тем спокойным упорством, которое свойственно всему, что старше и сильнее нас.

Мы шли в колонну по одному. Вессен — головной, на тридцать метров впереди, бесшумный, как тень. Я — вторая. За мной — Ким Нара, с её великоватой формой и кейсом, который чуть позвякивал при каждом шаге, пока она не переложила его и не закрепила плотнее. Торик замыкал — широкий, основательный, как ходячая баррикада.

Первый час шли молча. Это было правило — на выходе из базы, пока не миновали зону прямого наблюдения часовых, соблюдалась радиотишина и звуковая дисциплина. Говорить — только жестами. Идти — след в след. Слушать — всё.

Я слушала.

Лес звучал. Не тишиной — тишины в живом лесу не бывает — а тысячей мелких, переплетающихся звуков. Шорох листвы под ветром. Перестук дятла где-то далеко справа. Треск ветки — белка? птица? что-то крупнее? Вессен впереди чуть замедлил шаг, повернул голову, прислушался. Через три секунды двинулся дальше. Значит — белка.

Птицы пели. Господи, как они пели. Заливисто, самозабвенно, с тем восторженным упоением, которое бывает только весенним утром, когда мир кажется бесконечным и безопасным. Они не знали, что мир кончился. Для них он не кончался.

Я шла, и ботинки мягко вминались в влажную землю, и рюкзак привычно давил на плечи, и бок ныл — не остро, а глухо, фоновое, как радиопомехи.

На шестом километре Вессен поднял кулак — стоп.

Мы замерли. Я услышала это за секунду до того, как увидела: шорох в кустарнике справа, тяжёлый, мерный, слишком громкий для белки. Рука легла на кобуру.

Из подлеска вышел лось.

Огромный. Тёмно-бурый, с лопатообразными рогами, покрытыми бархатистым пушком. Он стоял в десяти метрах от нас и смотрел — спокойно, без страха, с тем вежливым недоумением, с каким хозяин дома рассматривает незваных гостей.

Три секунды мы смотрели на него. Он смотрел на нас. Потом фыркнул, тряхнул головой и неторопливо двинулся через дорогу. Копыта мягко вминались в траву. Он не боялся. Ему не нужно было бояться. Мы были гостями в его мире. Он это знал.

Торик за моей спиной тихо выдохнул.

— Здоровый, чёрт.

— Тише, — сказала я одними губами.

Мы подождали, пока лось скроется в подлеске, и двинулись дальше.

На двенадцатом километре лес изменился.

Не внешне — деревья стояли те же, трава росла та же, птицы пели так же. Но что-то сместилось. Что-то неуловимое, на уровне интуиции, которую три года войны заточили до бритвенной остроты.

Вессен почувствовал это первым. Я видела, как изменился его шаг — стал короче, осторожнее, как он чуть опустил центр тяжести и сдвинул винтовку с плеча в руки.

Граница патрулируемой зоны. Дальше — ничейная земля.

Я подняла руку, жестом приказала сократить дистанцию. Колонна сжалась. Вессен — в пятнадцати метрах, а не в тридцати. Торик подтянулся ближе к Наре.

— С этого момента, — сказала я негромко, — полная бдительность. Вессен — дозор. Торик — тыл. Доктор Нара — между мной и Ториком. Любой контакт — доклад жестом. Голос — только в крайнем случае.

Кивки. Без слов. Группа перестроилась, и мы двинулись дальше — медленнее, осторожнее, вслушиваясь в каждый звук.

Лес молчал.

Нет — не молчал. Птицы по-прежнему пели, и ветер шелестел в листве, и где-то журчал ручей. Но под этими звуками, как под поверхностью воды, лежала другая тишина. Тишина места, из которого ушли люди. Тишина, к которой привыкаешь, но которая никогда не перестаёт давить.

На семнадцатом километре мы нашли первый след.

Вессен остановился, присел на корточки и молча указал на землю. Я подошла, встала рядом.

Отпечаток ботинка. Рифлёная подошва, сорок третий-сорок четвёртый размер. Свежий — края чёткие, земля ещё не осыпалась.

Рядом — второй. Третий. Четвёртый. Цепочка следов уходила с дороги в подлесок, на юго-запад.

— Сколько? — спросила я шёпотом.

Вессен показал три пальца. Подумал. Добавил ещё один. Три-четыре человека. Прошли недавно — часов шесть-восемь назад, судя по влажности грунта в отпечатках.

— Крюгер? — одними губами спросил Торик, подошедший сзади.

Я покачала головой — не знаю. Следы не дают ответа на вопрос «кто». Только на вопрос «сколько» и «когда».

— Идём дальше, — решила я. — Но меняем темп. Быстрее. Хочу пройти открытый участок до того, как они — кем бы они ни были — решат вернуться.

Вессен кивнул и бесшумно двинулся вперёд, растворяясь в зелёном полумраке подлеска, как нож в воде.

Крайнево мы увидели на исходе первого дня.

Точнее — то, что от него осталось.

Посёлок лежал в неглубокой лощине, окружённой берёзовой рощей, которая уже начала поглощать его, как море поглощает затонувший корабль. Дома — деревянные, одноэтажные, типовые сельские постройки — стояли вдоль единственной улицы, и некоторые из них ещё сохраняли подобие жилого вида: стены, крыши, оконные рамы. Но большинство уже сдались. Крыши провалились под тяжестью нечищеного снега двух зим. Стены покосились, обросли мхом и плющом. Из разбитых окон торчали ветки деревьев, проросших изнутри — молодые берёзки, пробившие полы и потолки, тянущиеся к свету.

Природа не разрушала. Она прорастала. Тихо, терпеливо, неостановимо.

Посреди улицы стоял ржавый остов автомобиля — легкового, марку уже невозможно было определить. Краска облезла, стёкла выбиты, шины сгнили до обода. На капоте сидела ворона — крупная, чёрная, с маслянистым блеском перьев — и смотрела на нас с тем высокомерным любопытством, которое свойственно воронам и которое всегда казалось мне неприятно осмысленным.

— Привал, — сказала я. — Двадцать минут. Вессен — осмотреть периметр. Торик — проверить вон тот дом, — я указала на строение, которое выглядело наименее разрушенным, — на предмет пригодности для ночёвки. Нара — со мной.

Группа рассредоточилась.

Я села на поваленное бревно у обочины, сняла рюкзак и позволила себе десять секунд слабости: закрыла глаза, откинула голову и просто дышала. Воздух пах сиренью. Одичавший куст разросся у ближайшего забора, и его тяжёлые лиловые кисти свисали до земли, источая дурманящий, почти болезненный аромат.

Сирень. Мама любила сирень. В королевском саду была сиреневая аллея — белая, лиловая, розовая. Ингрид срезала ветки и ставила их в высокие хрустальные вазы по всему дворцу, и в мае коридоры пахли так, что кружилась голова.

Я открыла глаза. Хватит.

Ким Нара села рядом, аккуратно поставив кейс между ног.

— Вы хорошо держитесь, — сказала она после паузы. — С ранением. Я наблюдала вашу походку. Компенсируете правым бедром, чтобы снять нагрузку с правого бока. Это грамотно, но к концу второго дня бедро начнёт отказывать.

— Я знаю, — ответила я.

— Знаете, — она кивнула. — Конечно знаете. Вы же хирург.

Это не было вопросом.

— Недоучившийся, — уточнила я.

— Пятый курс. — Она смотрела на меня тем своим внимательным, микроскопным взглядом. — Я читала ваше личное дело. То, что доступно.

— Доступно немного.

— Достаточно, чтобы задать вопрос, который я задавать не буду, — она чуть улыбнулась. Первая улыбка, которую я видела на её лице. Тонкая, сдержанная, мимолётная. — Но скажу вот что. Если мы найдём то, что я думаю мы найдём, ваше прошлое может оказаться не менее важным, чем ваши медицинские навыки.

Я посмотрела на неё. Она знала. Или догадывалась. Левин сказал ей? Или она сама сложила два и два — Нот, Эннот, рост, возраст, «понимание структуры довоенных государственных проектов»?

— Моё прошлое мертво, — сказала я.

— Прошлое не умирает, Рея, — ответила Нара, и голос её стал тихим и серьёзным. — Оно мутирует. Как вирус. И возвращается в новой форме, когда меньше всего ждёшь.

Торик вернулся через десять минут. Доложил: дом пригоден, крыша цела, стены держат, вход один — удобно для обороны. Внутри — следы старого, давнишнего пребывания людей:

консервные банки, спальный мешок, погасший костёр в жестяном ведре. Давно ушли. Месяц, может два.

Вессен появился бесшумно, как и уходил. Периметр чист. Свежих следов — нет. Волчи — есть, но старые, трёхдневные.

— Ночуем здесь, — решила я. — Дежурство по два часа. Вессен — первый, Торик — второй, я — третья. Нара — отдыхает. Она нужна нам в рабочем состоянии.

Нара не стала спорить. Она была достаточно умна, чтобы понимать свою роль в группе: не боец, не разведчик — мозг. А мозг должен быть выспавшимся.

Мы вошли в дом. Торик зажёл химический фонарь — тусклый, зеленоватый свет заполнил маленькую комнату с низким потолком и стенами, оклеенными выцветшими обоями в мелкий цветочек. В углу стоял стол — деревянный, разошедшийся, на одной ножке. На стене висела фотография в треснувшей рамке: семья. Мужчина, женщина, двое детей — мальчик и девочка. Все улыбались. Пляж, лето, мороженое в руках у мальчика.

Я отвернулась.

Мы расстелили спальные, поели — сухой паёк, безвкусный но питательный, — и Вессен занял позицию у окна, а остальные легли.

Я лежала в темноте и слушала. Ветер в щелях. Скрип дерева. Далёкий, протяжный вой — волки, километрах в пяти, может ближе.

И я думала о том, что завтра мы пройдем ещё тридцать километров, и послезавтра — ещё двадцать, и доберёмся до скального массива, и найдём вход, и спустимся туда, куда спускаться, возможно, не следовало.

«Проект Эдем».

Отец знал. Отец боялся.

«Что ты знал, Берг Эннот? Что ты знал — и от чего не смог нас защитить?»

Где-то совсем рядом — за стеной, за тонкой преградой из старого дерева и выцветших обоев — кричала сова. Резко, хрипло, как ребёнок, которому снится кошмар.

Я закрыла глаза.

Сон пришёл — мутный, неглубокий, настороженный. Сон солдата, который даже во сне считает патроны.

А за окном, над мёртвым посёлком, над одичавшей сиренью и ржавыми остовами чужих жизней, медленно поднималась луна. Полная, жёлтая, безразлично прекрасная.

Мир спал.

Мир не знал, что мы идём будить его прошлое.

Глава 5 Чужая кровь

Мы вышли на рассвете.

Крайнево осталось позади — тихое, забытое, прорастающее берёзами сквозь трещины в асфальте. Я не обернулась. Оборачиваться — значит сомневаться в направлении, а сомневаться мне было некогда.

Второй день марша. Лес становился гуще, рельеф — круче. Дорога, которая ещё вчера была хоть как-то различима под слоем травы и прошлогодней листвы, теперь превратилась в едва заметную тропу, петляющую между стволами. Молодые деревья пробивались сквозь старый асфальт, как кости сквозь кожу, и время от времени нам приходилось обходить поваленные стволы — гнилые, трухлявые, поросшие грибами.

Бок болел ровно, монотонно. Я научилась раскладывать эту боль на составляющие: пульсация — это кровоток, тянущее давление — мышцы, компенсирующие непривычную нагрузку, острый укол при неудачном шаге — шов, который напоминает о себе. Каждая составляющая была терпима. Вместе — тоже. Терпимость — это навык. Как наложение швов. Тренируется.

Мы преодолели двадцать второй километр, когда Вессен поднял руку. Стоп.

Я замерла. Рука — на кобуре.

И тут я услышала.

Не лесные звуки — не белок, не птиц, не ветра. Другое. Сухие, отрывистые хлопки, доносящиеся откуда-то севернее. Глухие, рваные, перемежающиеся с ещё одним звуком — металлическим, визгливым, который я узнала бы в любом аду.

Рикошет. Пули, ударяющиеся о камень.

Стрельба.

— Ложись! — одними губами я скомандовала группе, и мы одновременно упали в подлесок. Колени в землю, локти в мох. Вессен уже был на позиции — винтовка в руках, глаз на прицеле.

Стрельба продолжалась. Автоматные очереди — короткие, дозированные, по два-три выстрела. Не паническая стрельба. Контролируемая. Значит — не бегство. Ответный огонь. Бой.

— Четыреста метров, может пятьсот, — прошептал Вессен, не отрываясь от прицела. — Север-северо-запад. Две — нет, три точки. Стрелки рассредоточены.

— Кто стреляет? — спросил Торик.

— Не могу определить. Дистанция слишком большая.

Стрельба усилилась. Короткие очереди сменились непрерывной трескотнёй — кто-то нажал спусковой крючок и не отпустил. Паника. Или подавление.

Потом — тишина.

Тишина была хуже стрельбы. Потому что стрельба означала, что кто-то ещё жив и способен сражаться. Тишина означала, что всё кончилось.

— Ждём, — сказала я.

Ждали пять минут. Десять. Пятнадцать. В лесу не было слышно ничего — ни криков, ни шагов, нидвигающихся тел. Только птицы, которые через несколько минут после прекращения огня возобновили пение — равнодушные, как часы, которые продолжают идти, когда хозяин мёртв.

— Вессен. Разведка. Туда и обратно — десять минут. Не больше.

Он кивнул и исчез. Не растворился, не ушёл — именно исчез, как будто лес раскрылся перед ним и принял внутрь. Я видела это сотни раз и каждый раз испытывала странную, почти суеверную настороженность. Вессен двигался так, словно родился между деревьями.

Семь минут спустя он вернулся. Лицо — непроницаемое, как всегда. Но в голосе — нотка, которую я научилась читать.

— Наши.

— Военные?

— Форма — наша. Пятеро. Три раненых. Живые. Противник отступил на юго-запад, человек семь-восемь. Мародёры — форма разномастная, вооружение смешанное.

— Наши способны передвигаться?

— Двое — да. Один — тяжёлый.

Я посмотрела на Ким Нару. Она кивнула — молча, без вопросов. Потом на Торика.

— Идём.

Мы нашли их на поляне, в трехстах метрах от того места, где слышалась стрельба.

Пять человек. Пятеро живых — на тот момент.

Они лежали и сидели вокруг перевернутого автомобиля-вездехода, который, видимо, служил им транспортом. Вездеход был изрешечён пулями: лобовое стекло выбито, боковина — вмятины и сквозные отверстия, правое переднее колесо спущено. Рядом — следы крови на гравии. Несколько пустых магазинов.

Из пятерых двое были на ногах — мужчина и женщина в полевой форме, с автоматами наперевес. Мужчина — коренастый, рыжий, с рассечённой бровью, кровь стекала по виску и он не вытирал, левая рука вцепилась в автомат так, что костяшки побелели. Женщина — худая, темноглазая, стояла чуть впереди, прикрывая остальных, и автомат в её руках был направлен в сторону леса.

Трое лежали.

Первый — осколочное, левое предплечье. Рана была забинтована — грубо, по-полевому, изорванной полой кителя. Бинт пропитался кровью и потемнел. Боец был в сознании, бледный, с запавшими глазами, но держал в свободной руке пистолет и не выпускал его.

Второй — резаная рана, предположительно ножевая, левое бедро. Глубокая, виднелась белая полоска фасции, но артерия не задета — кровотечение было умеренным, венозным. Боец сидел, прислонившись к колесу вездехода, и через силу улыбался.

Третий лежал на спине.

Он был огромным.

Это первое, что я увидела, подойдя к нему. Даже лёжа, он занимал пространство — как скала. Длинные ноги, чуть согнутые в коленях, вытянутые руки, широкие плечи, вминающие под собой траву. Форма на нём была грязной, пропахшей пороховым дымом и чем-то ещё — железным, медным запахом, который я знала слишком хорошо.

Кровь. Много крови.

Огнестрельное. Правое плечо. Пуля вошла спереди, чуть ниже ключицы, и — судя по отсутствию выходного отверстия — осталась внутри. Артерия, слава богу, не задета — иначе он был бы мертв к нашему приходу, — но мышцы повреждены серьёзно, и кровотечение, хоть и не фонтанное, было непрерывным, тёмным, вязким.

Он лежал и смотрел на меня.

Тёмные глаза. Настолько глубокие, что радужка почти не отличалась от зрачка. Без выражения. Не больно, не испуганно, не злобно. Ничего. Как у человека, который давно перестал реагировать на боль, как на что-то заслуживающее внимания.

— Рея Нот, медкорпус, — сказала я, опускаясь на колени рядом с ним. — Позвольте осмотреть.

Он не ответил. Не кивнул, не моргнул. Просто лежал и смотрел. Я приняла молчание за согласие.

Рыжий с рассечённой бровью — его звали Ренке — подошёл, пока я осматривала рану.

— Мы из патрульной группы «Клинок», — сказал он, держа автомат наизготовку. — Рассказал что они возвращались после зачистки на окраине Грауберга. Мародёры устроили засаду на обратном пути. Человек семь, может восемь. Отбились. Но, — он кивнул на лежащего, — Кайлу досталось.

— Кайл, — повторила я. — Какой ранг?

— Сержант. Наш командир.

Я посмотрела на раненого. Командир группы. Лежит третьим — не первым, не вторым. Значит, пока был на ногах, принимал огонь на себя, прикрывая остальных. Получил пулю, когда оттащил раненых в укрытие. Классика. Глупая, самопожертвующая, неискоренимая классика.

— Тесты, — сказала я, обращаясь к Ким Наре.

Нара уже открыла кейс. Компактные экспресс-тесты — портативные, полевые, на основе иммунохроматографического анализа. Капля крови из пальца, десять минут ожидания, две полоски — положительный, одна — отрицательный. Точность — не идеальная, процентов восемьдесят пять, но лучше, чем ничего.

— Мне нужны ваши руки, — сказала Нара ровным, спокойным голосом, обращаясь ко всем. — По одному. Без паники. Это профилактическая процедура.

Ренке нахмурился.

— Тест на вирус? Мы не

— Это протокол, — перебила я. — Каждый, кого мы встречаем в полевых условиях, проходит экспресс-тест. Без исключений. Я сделаю первый.

Я протянула руку. Нара проколола мне безымянный палец ланцетом, собрала каплю крови в микропипетку, нанесла на тест-полоску. Десять минут.

Мы ждали.

Птицы пели. Ветер шевелил верхушки. Где-то далеко, совсем далеко, на краю слышимости, выла волчица.

Одна полоска. Отрицательно.

Я выдохнула.

Дальше — по очереди. Вессен, Торик, Нара — сами. Потом пятеро военных «Клинка». Каждый — с проколом, с кровью, с десятью минутами ожидания, которые тянулись как вечность.

Результат — отрицательный у всех.

Десять человек. Десять отрицательных тестов. Десять маленьких побед над невидимым врагом.

— Чисто, — объявила Нара, убирая использованные тесты в герметичный пакет. — Всё чисто.

Ренке выдохнул. Женщина-автоматчица — её звали Леман — опустила оружие. Впервые с момента нашего появления.

— Теперь, — сказала я, возвращаясь к лежащему, — к работе.

Я разложила инструменты на чистой ткани, расстеленной рядом с раненым. Руки работали автоматически — память тела, вбитая сотнями операций, тысячами перевязок, десятками тысяч часов практики. Скальпель. Зажим. Пинцет. Ножницы. Шовный материал. Антисептик. Салфетки.

— Послушай, — я склонилась над Кайлом, и голос мой стал другим — тем ровным, профессиональным тоном, который я нарабатывала годами и который означал: «я врач, ты пациент, между нами — только рана». — Пуля внутри. Мне нужно её извлечь, обработать рану и наложить швы. Это будет больно. Я дам обезболивающее, но полностью убрать боль не смогу — дозировка ограничена. Ты будешь чувствовать давление и, вероятно, жжение. Не двигайся. Если станет невыносимо — скажи. Я остановлюсь на три секунды и продолжу. Договорились?

Тёмные глаза смотрели на меня. Без выражения. Без страха. Без боли. Ничего. Он кивнул. Один раз. Коротко.

Я достала ампулу промедола. Раствор для инъекций — обезболивающее, наркотическое, из тех запасов, которые на вес золота. На один шприц — одна ампула. Больше не было.

— Колю, — предупредила я.

Игла вошла в мышцу бедра — латеральная поверхность, средняя треть, стандартно. Поршень вниз. Раствор — тёплый, маслянистый — растворился в ткани.

— Десять минут до начала действия, — сказала я. — Пока ждём — обработаю края раны.

Я пропитала салфетку хлоргексидином и начала аккуратно очищать кожу вокруг входного отверстия. Кровь, грязь, обрывки ткани от формы — всё убиралось методично, слой за слоем. Пуля вошла чисто, без осколков кости в канале — я проверила на ощупь, осторожно введя зонд. Хорошая новость. Если бы кость была раздроблена, я бы работала час. А так — полчаса. Может, сорок минут.

— Ренке, — не поднимая головы, позвала я. — Мне нужна помощь. Держи ему руку. Левую. Крепко. Если он дёрнется — я поврежду плечевое сплетение.

Ренке встал на колени слева от Кайла и положил свои загрубелые ладони на левое предплечье командира. Кайл даже не посмотрел на него.

— Доктор Нара, — продолжила я. — Салфетки. Подавайте по моей просьбе. Не задавайте вопросов во время процедуры.

Нара кивнула и встала справа. Лицо — сосредоточенное, руки — устойчивые. Она была вирусологом, не хирургом, но три года в полевом госпитале научили каждого выжившего базовым навыкам ассистирования.

Десять минут истекли.

— Начинаю, — сказала я.

Скальпель вошёл в ткань — тонко, точно, по линии рассечения. Кожа, подкожная клетчатка, фасция. Я расширяла раневой канал, чтобы получить доступ к пуле. Кровь хлынула — обильнее, чем я ожидала. Зажим. Сосуд пережат. Салфетка. Протереть. Следующий слой.

Кайл не дёрнулся.

Я работала по ощущениям — пальцы хирурга, заточённые годами тренировок, чувствовали ткань на уровне, недоступном сознанию. Вот здесь — сухожилие, не повреждено, отодвинуть. Вот здесь — мышца, рваный край, гематома. А вот здесь — металл.

Пуля.

Она сидела глубоко — в мягких тканях между дельтовидной мышцей и лопаткой, застрявшая в надкостнице. Крупная. Девятимиллиметровая, судя по диаметру раневого канала. Обычная, не экспансивная — если бы она была экспансивной, этой операции бы не было, потому что Кайл был бы мёртв.

— Пинцет, — потребовала я.

Нара вложила инструмент в мою ладонь. Я ввела пинцет в рану — глубоко, осторожно, целясь в металлические кончики в поверхность пули. Цеплять — мягко, без рывка. Пуля может деформироваться, и тогда извлечение превратится в кошмар.

Кончики пинцета коснулись металла.

— Держу, — сказала я. — Ренке — не дай ему дёрнуться. Сейчас будет неприятно.

Я потянула.

Пуля не сдвинулась.

Глубже в надкостницу. Застряла.

Я поменяла угол, чуть расширила раневой канал скальпелем, вновь вошла пинцетом. Потянула — сильнее, но контролируемо. Чувствовала, как металл скрипит о кость, как ткани сопротивляются, не желая отдавать чужеродный предмет.

Кайл не издал ни звука.

Даже когда пинцет соскользнул и острые кончики прошли по обнажённому нервному окончанию — болевого рефлекса не было. Тело его не напряглось, дыхание не сбилось, пальцы не сжались. Он лежал так же, как лежал с самого начала — неподвижно, молча, глядя в небо сквозь кроны деревьев.

Я впервые за все время операции я подняла глаза от раны и посмотрела на его лицо.

Тёмные глаза смотрели на меня. Не в небо — на меня. Спокойно, внимательно, с каким-то странным, непривычным для моего опыта выражением. Не боль. Не терпение. Не стоицизм. Интерес.

Он изучал меня. Внимательно, методично, как изучают карту местности перед маршброском. Наблюдал, как мои руки работают в его плоти, как кровь течёт по моим пальцам, как скальпель режет — и не отводил взгляда.

Я отвернулась обратно к ране. Работать. Думать о ране. Только о ране.

Третья попытка. Я ввела пинцет чуть глубже, подцепила пулю снизу, под самый выступающий край, и резко, коротко — дёрнула.

Пуля вышла.

Вместе с ней — кровь, обрывки ткани, мелкая костная крошка. Пуля упала на расстеленную рядом салфетку — деформированная, окровавленная, тёплая. Девять миллиметров. Оболочечная. Обычная.

Торик, стоявший позади и наблюдавший за лесом, обернулся на звук металла о ткань.

— Есть? — спросил он.

— Есть, — ответила я. — Обработка.

Я промыла раневую полость антисептиком — обильно, тщательно, до тех пор, пока вытекающая жидкость не стала прозрачной. Осмотрела края. Рваные, но жизнеспособные. Некроза нет. Остеомиелит маловероятен, если обработка проведена качественно.

— Шовный материал, — потребовала я.

Нара подала. Нить — рассасывающаяся, синтетическая. Игла — атравматическая, изогнутая, три-четыре. Первая точка — угол раны. Прокол. Вывод. Узел.

Я зашивала.

Слои — от глубоких к поверхностным. Мышцы — отдельно. Фасция — отдельно. Подкожная клетчатка — отдельно. Кожа — в последнюю очередь. Каждый стежок — ровный, на одинаковом расстоянии, с одинаковым натяжением. Красивый шов. Шов, который заживёт без рубца — или почти без.

Профессор Ланге был бы доволен.

«Хирург, который думает во время операции, — мёртвый хирург. Руки помнят».

Руки помнили.

Последний узел. Обрезка нити. Обработка поверхности шва антисептиком. Наложение стерильной повязки — плотной, но не давящей.

— Готово, — сказала я, откладывая инструменты.

Я проверила пульс на лучевой артерии левой руки. Ритмичный, удовлетворительного наполнения. Дыхание — ровное. Кожа — бледная, но не цианотичная. Кровопотеря значительная, но не критическая. Ему нужен покой, жидкость и антибиотик.

Я набрала цефтриаксон в шприц — стандартная доза, внутримышечно, в левое бедро — и ввела. Потом достала из рюкзака флягу и два солевых пакета для пероральной регидратации.

— Пей, — я протянула ему флягу. — Медленно. Глотками. Если затошнит — скажи.

Он принял флягу.левой рукой — правая, забинтованная, лежала неподвижно в перевязи, которую я наложила, фиксируя руку к туловищу. Пил молча. Глотал ровно, без спешки, без судорожной жадности раненого, который боится, что воду отберут.

Я села на корточки рядом и начала складывать инструменты обратно в набор. Руки были в крови — его крови — до локтей. Тёмная, густая, уже подсыхающая на коже. Я протерла

их влажной салфеткой, не отрывая взгляда от повязки. Если кровотечение возобновится — первый час критический.

Он допил. Поставил флягу на землю рядом с собой.

И встал.

Просто встал. Сел — и встал. Человек, которому только что извлекали пулю из плеча, который потерял, по моим оценкам, не менее шестисот миллилитров крови, — просто поднялся на ноги. Как будто встал с кровати. Как будто проснулся.

Я посмотрела на него снизу вверх.

Он был выше меня. Значительно. Я — метр восемьдесят, рост, которым гордилась мама и который солдаты привыкли считать необычным для женщины. Он был выше меня на голову. Почти два метра. Широкие плечи, длинные руки, тёмные — небритые, но не заросшие — волосы, сбитые назад, мокрые от пота. И это лицо — крупные черты, тяжёлая челюсть, прямой нос, тёмные-тёмные глаза — безмятежное, гладкое, лишённое эмоций, как каменная стена.

Он стоял и смотрел на меня сверху вниз.

Я встала. Инстинктивно. Привычка, воспитанная мамой: «Принцесса не смотрит снизу вверх. Принцесса встречает взгляд на одном уровне». Даже здесь. Даже с кровью на руках и бинтом на боку.

Мы стояли друг напротив друга — два человека, покрытых кровью и потом, в полумраке лесной поляны, — и молчали.

Он протянул руку. Левую.

Не для того, чтобы подать что-то. Не для того, чтобы указать направление. Просто — руку. Ладонь вверх, пальцы чуть раскрыты. Рукопожатие.

Я посмотрела на его ладонь. Большую, загорелую, с мозолями от оружия и короткими чистыми ногтями. Ладонь солдата. Ладонь человека, который всю жизнь работал руками — и строил, и уничтожал, и выживал.

Я протянула свою — правую, ещё влажную от антисептика, с тёмными пятнами крови в складках кожи между пальцами.

Наши ладони соприкоснулись.

Рука его была тёплой. Сухой. Сильной — я почувствовала это сразу, по тому, как сомкнулись пальцы: уверенно, но без давления. Без необходимости доказывать силу. Просто сила, как факт, как свойство материи.

— Кайл, — сказал он.

Голос — низкий, глухой, как удар по натянутому брезенту. Короткое слово. Имя. Без фамилии, без звания, без «спасибо». Просто имя, как штрих на карте: вот я здесь, вот моя точка.

— Рея, — ответила я.

Он кивнул.

И протянул мне шоколадку.

Я моргнула. Потому что это было настолько нелепо, настолько непредсказуемо, настолько абсолютно неподходяще для момента — раненый, облитый кровью, с только что защитой дырой в плече — что мой мозг на секунду отказался обрабатывать информацию.

Шоколадка. Обычная, довоенная, в обёртке, которая выцвела и помялась, но была целой. Горький шоколад. Я узнала обёртку — «Нордлинг», семьдесят два процента какао, те самые, что продавались в киосках при университетских корпусах и которые мы с одноклассниками покупали перед ночными дежурствами.

— Это — начала я.

— Ешь, — сказал он. Тем же тоном, каким отдаёт приказ. Но в глубине этих тёмных, бездонных глаз мелькнуло что-то. Не улыбка — он не улыбнулся. Что-то тоньше. Тень тени улыбки. Намёк на то, что за каменной стеной есть кто-то живой.

Я взяла шоколадку. Обёртка хрустнула в пальцах.

— Спасибо, — сказала я.

Он кивнул. Отвернулся. Сделал два шага — и остановился, потому что правая нога чуть подогнулась: кровопотеря давала о себе знать, и даже два метра живого камня не могли игнорировать законы физики бесконечно.

Ренке метнулся к нему — подхватить. Кайл отмахнулся левой рукой. Коротко, жёстко. Сам. Всегда сам.

Он сел обратно на землю, прислонился к повреждённому вездеходу и закрыл глаза. Впервые за всё время, что я его видела, — закрыл глаза.

Я смотрела на него секунду. Потом отвернулась и начала осматривать остальных раненых.

Руки работали. Рана на предплечье — несложная, поверхностная, наложила швы за десять минут. Ножевая на бедре — глубже, но без повреждения крупных сосудов, обработала, зашила, наложила давящую повязку.

Ренке и Леман — без ранений, только мелкие ссадины и рассечённая бровь у Ренке. Я заклеила её стерильными полосками и велела не трогать.

Пока я работала, Нара тихо переговорила с Ренке и Леман. Я не слышала содержания — руки были заняты, — но видела, как лица обоих военных изменилось, когда Нара произнесла «Проект Эдем». Ренке покосился в мою сторону. Леман сжала губы.

Когда я закончила, Ренке подошёл ко мне.

— Нот, — сказал он, и голос его звучал иначе, чем полчаса назад. Осторожнее. — Доктор Нара говорит, вы идёте к исследовательскому комплексу. К «Эдему».

— Так точно.

— Мы не можем с вами. — Он кивнул на своих. — Двое не могут идти. Нужна эвакуация. Я вызвал подкрепление по рации, но подойдут не раньше, чем через сутки.

— Я понимаю, — ответила я. — Мы оставим вам медикаменты для поддержания состояния раненых. Антибиотик, обезболивающее, перевязочный материал. Инструкции — устно и письменно.

— Благодарю.

Пауза. Ренке оглянулся на Кайла. Тот сидел с закрытыми глазами, и его дыхание было ровным и глубоким — он спал, или делал вид, что спал, или просто отключил мир, как выключают лампу.

Мы двинулись дальше через сорок минут.

Я обернулась на поляне — единственный раз. Кайл сидел у вездехода, неподвижный, как часть ландшафта, и его тёмные глаза были открыты. Он смотрел мне вслед. Без выражения. Без жеста. Просто — смотрел.

Я отвернулась и вошла в лес.

Шаг. Ещё шаг. Дальше.

В кармане, лежала шоколадка.

Руки пахли чужой кровью.

Лес шумел вокруг — зелёный, безразличный, вечный.

И мы шли к месту, где всё началось.

Глава 6 Эдем

Лес кончился внезапно.

Не так, как кончаются леса в мирное время — постепенным разрежением деревьев, полосой кустарника, переходящей в луг или поле. Нет. Этот лес обрывался, как обрывается фраза на полуслове: стена елей, густая, непроницаемая, почти чёрная в предвечернем свете, — и вдруг пустота. Скальный массив.

Он вырос из земли, как обнажённая кость — серый, изъеденный ветрами, покрытый лишайником и потёками воды. Не гора — скорее, огромный каменный лоб, выпирающий из склона холма, словно земля когда-то пыталась родить что-то и не смогла.

Мы стояли на опушке и смотрели.

Третий день марша. Семьдесят километров за спиной — по лесам, руинам, ничейным землям. Ноги — свинцовые. Бок — терпимо, но температура снова поднялась к вечеру второго дня, и я молча проглотила жаропонижающее, пока никто не видел. Нара видела. Промолчала.

— Вот он, — тихо сказала Нара, и в её голосе было что-то, чего я прежде не слышала. Не страх. Не предвкушение. Что-то среднее — сосредоточенное напряжение человека, который три года шёл к двери и теперь стоит перед ней, не зная, заперта она или нет.

Вессен лежал в траве впереди, в десяти метрах от опушки, и осматривал скалу через прицел. Торик стоял рядом со мной, расставив ноги, расслабленный и настороженный одновременно — как зверь, принюхивающийся к незнакомому запаху.

— Вход? — спросила я.

— Северо-западный склон, — ответил Вессен, не отрываясь от прицела. — Видишь трещину? Метров пять правее одинокой сосны. Она не естественная. Слишком ровная.

Я посмотрела. Сосна — кривая, старая, вцепившаяся корнями в каменную щель, — стояла одиноко, как часовой, забытый на посту. Правее неё, в серой поверхности скалы, темнела вертикальная линия. Издалека — просто трещина, одна из сотен. Но Вессен был прав: слишком прямая. Слишком ровная. Природа не рисует вертикальных линий.

— Следы? — спросил Торик.

— Нет, — Вессен качнул головой. — Ни людей, ни животных. Камень чистый.

— Или подходили те, кто умеет не оставлять следов, — заметила Нара.

Вессен на секунду оторвался от прицела и посмотрел на неё. Без выражения. Потом вернулся к наблюдению.

— Подходим, — решила я. — Вессен — прикрытие с опушки. Торик, Нара — со мной. Дистанция — три метра. Двигаемся вдоль скальной стены. Без рывков.

Камень под ладонью был холодным.

Я прижалась спиной к скале и медленно двигалась вправо, к тёмной вертикальной линии. Поверхность — шероховатая, влажная от мха, — пахла минералами и дождём. Запах, который был здесь тысячу лет назад и будет через тысячу лет после нас. Камню нет дела до вирусов, мародёров и рухнувших цивилизаций.

Трещина оказалась не трещиной.

Вблизи это было очевидно: вертикальный стык двух плит, подогнанных с инженерной точностью. Зазор — не больше сантиметра. Края — ровные, обработанные. А на правой плите, на уровне пояса, — углубление. Небольшое, в форме прямоугольника, замаскированное накладкой из камня, которая, если не знать, куда смотреть, сливалась с поверхностью.

Я отковырнула накладку ногтем ножа. Под ней обнажилась панель — потемневшая, покрытая плёнкой грязи, но узнаваемая. Считыватель. Магнитная карта или биометрия — я не могла определить, не очистив панель полностью.

— Торик, — позвала я. — Посмотри.

Он подошёл, склонился, протёр панель рукавом. Присвистнул — тихо, сквозь зубы.

— Биометрический замок. Сканер отпечатка. Военная модель, довоенная, серия «Гранит-4». Я такие видел на стратегических объектах. — Он покрутил головой. — Батарея, скорее всего, автономная, на изотопном источнике. Может работать десятилетиями без обслуживания. Вопрос — работает ли сейчас.

— Вскрыть сможешь?

Торик помолчал. Потёр ладонью шею.

— Сканер — нет. Если питание живое — он привязан к базе данных, а база данных в этой горе. Без нужного пальца не войдём. — Он посмотрел на меня. — Но дверь — не монолит. Плиты. Механизм. Если я найду, где проходят направляющие, можно попробовать рычаг. Или заряд.

— Заряд — крайний вариант, — сказала я. — Если внутри биологический материал, взрывная волна может нарушить герметичность.

— Знаю, — кивнул Торик. — Поэтому я сказал «или». Дай мне двадцать минут.

Он снял рюкзак, достал инструменты — монтировку, набор отвёрток, фонарик — и начал методично обследовать стык между плитами, простукивая камень, прислушиваясь к звуку.

Я отошла на два шага и села на валун. Бок горел. Температура, я чувствовала это по ознобу, снова поднялась. Тридцать восемь и пять, может больше. Организм бился с инфекцией, которая пыталась занять территорию вокруг раны, и антибиотики помогали, но медленнее, чем хотелось бы.

Нара встала рядом. Молча. Она вообще была молчаливой — не как Вессен, чьё молчание было оружием, а иначе. Молчание Нары было пространством для мысли. Она думала. Постоянно, непрерывно, как работающий процессор.

— Рея, — сказала она наконец.

— Да.

— Если мы войдём — Она помедлила, подбирая слова с той аккуратностью, с которой подбирают реактивы для опасного эксперимента. — Если внутри действительно лаборатория «Эдема», и если данные подтвердят, что вирус — рукотворный. Что вы сделаете?

Я посмотрела на неё.

— Сначала — задокументирую.

— А потом?

— Потом — доставлю на базу.

— А если информация окажется такой, что её невозможно доставить?

— Невозможной информации не бывает. Бывают люди, не готовые её принять.

Нара помолчала.

— Я работала в секторе «Дельта» последние полтора года, — сказала она, глядя на скалу. — Мы занимались секвенированием штаммов. Все известные штаммы — четырнадцать на сегодняшний день — мы разложили по нуклеотидным последовательностям. И знаете, что мы обнаружили?

— Что?

— Маркеры. Искусственные вставки в геноме вируса. Последовательности, которые не могли возникнуть в результате естественной мутации. Мы это знали уже год назад. Но не могли доказать — данные были косвенными, фрагментарными. — Она повернулась ко мне. — Если в этой лаборатории есть исходный штамм — нулевой пациент, первый образец, до всех мутаций, — я смогу это доказать. И, возможно, — голос её стал тише, — найти уязвимость.

Уязвимость. Слово, которое в нашем мире весило больше золота, больше патронов, больше воды.

— Именно поэтому вы здесь, — сказала я.

— Именно поэтому, — подтвердила она.

Торик справился за семнадцать минут.

— Направляющие — вертикальные, — объявил он, вытирая руки о штанины. — Плита уходит вниз, в пол. Подъёмный механизм — внутри, электрический. Но есть аварийный ручной привод. — Он указал на узкую щель, которую расковырял у основания правой плиты. — Здесь. Рычаг. Я могу вставить монтировку и попробовать провернуть. Нужна будет помощь — механизм заржавел.

— Вессен, — я окликнула снайпера по рации. — Подтягивайся. Нужна пара рук.

Тридцать секунд спустя Вессен был рядом. Торик вставил монтировку в щель, Вессен упёрся плечом, и они вдвоём навалились.

Скрежет. Протяжный, металлический, как крик раненого зверя. Камень задрожал под ногами. Что-то глубоко внутри скалы щёлкнуло — тяжело, гулко, как удар молота по наковальне. И правая плита поехала вниз.

Медленно. Сантиметр за сантиметром. Из-под неё полз воздух — затхлый, прохладный, с привкусом бетона и чего-то химического, резкого, что я не сразу определила. Формальдегид? Нет. Что-то другое. Консервант. Какой-то консервант.

Плита ушла вниз на полтора метра и остановилась. Перед нами открылся проём — низкий, человеку среднего роста пришлось бы нагнуться. За проёмом — темнота.

Из темноты пахло прошлым.

— Респираторы, — приказала я.

Мы надели маски — полнолицевые, с угольными фильтрами. Перчатки. Бахилы поверх ботинок. Минимальная биозащита — недостаточная для полноценной работы с патогенами, но достаточная для первичного осмотра.

— Порядок входа, — продолжила я. — Я — первая. Торик — второй. Нара — третья. Вессен — остаётся снаружи, прикрывает вход и обеспечивает связь. Частота — та же. Доклад каждые пятнадцать минут. Если связь прерывается на тридцать минут и более — уходишь на базу. Один. Без нас.

Вессен посмотрел на меня. В его бесцветных глазах, обычно пустых, как стекло, мелькнуло что-то — не несогласие, скорее, неудовольствие.

— Принято, — сказал он.

Я включила фонарь и шагнула внутрь.

Коридор.

Бетонные стены, бетонный пол, бетонный потолок. Низкий — я шла, чуть пригнув голову, и луч фонаря метался по серым поверхностям, выхватывая из темноты фрагменты: трубы под потолком, кабель-каналы, таблички на стенах. Таблички были стандартными, доменной маркировки — белые буквы на синем фоне. «Уровень -1. Сектор А. Допуск: уровень 3 и выше».

Уровень допуска. Я знала эту систему. Пять уровней. Первый — общедоступный, пятый — лично монарх и три-четыре человека из ближайшего окружения. Третий уровень — старшие офицеры спецслужб и руководители стратегических проектов.

Отец был пятым.

Воздух в коридоре был неподвижным, мёртвым, как вода в заброшенном колодце. Температура — градусов двенадцать-тринадцать. Прохладно. Скала работала как естественный термостат.

Коридор уходил вниз — плавно, под углом градусов пять-семь, описывая широкую спираль. Мы шли по нему минуте, две, три. Фонари — мой и Торики — пересекались на стенах, создавая двойные тени, которые двигались вместе с нами, как молчаливые спутники.

На четвёртой минуте коридор закончился.

Дверь. Стальная, массивная, с поворотным запирающим колесом, как на подводных лодках. Маркировка: «Уровень -2. Главная лаборатория. Допуск: уровень 4 и выше».

Четвёртый уровень. Выше третьего. Ближе к отцу.

Колесо не поддалось. Торик обследовал механизм, покачал головой.

— Заварено изнутри, — сказал он глухо, через респиратор. — Кто-то запечатал дверь. Намеренно. Сварочный шов. Старый, но аккуратный.

Заварено изнутри. Значит, кто-то был внутри и не хотел, чтобы кто-то другой вошёл. Или — не хотел, чтобы что-то вышло.

— Сможешь вскрыть? — спросила я.

— Болгарка, — Торик похлопал по рюкзаку. — Аккумуляторная. Заряда хватит минут на семь непрерывной работы. Шов — сантиметров тридцать. Хватит.

— Режь.

Визг болгарки в замкнутом пространстве коридора ударил по ушам как кувалда. Искры — оранжевые, весёлые, почти праздничные — полетели во все стороны, отскакивая от стен и потолка. Торик работал точно, вёл диск по линии шва, и расплавленный металл капал на бетонный пол, застывая бурыми кляксами.

Четыре минуты. Шов разошёлся. Торик убрал болгарку, взялся за колесо обеими руками и крутанул. Механизм скрипнул, застонал — и поддался.

Дверь открылась.

Лаборатория.

Это слово не передавало масштаба. Не комната — зал. Огромный, с потолком метров в пять, вырубленный в толще скалы. Стены — частично бетон, частично природный камень, отшлифованный и покрытый каким-то полимером, матово блестящим в свете фонарей. Пол — монолитный, идеально ровный, с разметкой: жёлтые линии, разделяющие пространство на зоны. Зона А. Зона Б. Зона В.

В центре — лабораторные столы. Длинные, из нержавеющей стали, с встроенными раковинами, газовыми горелками, держателями для пробирок. На столах — оборудование: микроскопы, центрифуги, спектрофотометры, ламинарные боксы. Всё — покрытое тонким слоем пыли, но целое. Нетронутое. Законсервированное.

Вдоль правой стены — холодильные камеры. Большие, промышленные, с цифровыми дисплеями, которые не горели. Рядом — шкафы с реактивами, бутылки с жидкостями, контейнеры с маркировкой «Биологическая опасность».

Вдоль левой стены — стеллажи. Папки. Сотни папок. Бледно-зелёные, серые, синие — аккуратно расставленные по полкам, подписанные, пронумерованные.

Бледно-зелёные.

Я остановилась.

Бледно-зелёная обложка. Гриф «Совершенно секретно». Рука отца, захлопывающая папку. «Это не для твоих глаз, Миря».

Вот они. Вот эти папки. Не одна — десятки.

Нара подошла к стеллажу, и я услышала, как изменилось её дыхание — через респиратор оно стало чаще, неровнее. Руки в перчатках потянулись к ближайшей папке — осторожно, как к раненой птице.

— Не трогайте, — сказала я. — Сначала — осмотр. Полный. Периметр, боковые помещения, аварийные выходы. Потом — документация.

Нара остановилась. Посмотрела на меня. В её глазах, за стеклом респиратора, горел огонь — не лихорадочный, не безумный, а тот холодный, концентрированный огонь учёного, который знает, что ответ — вот он, на расстоянии вытянутой руки.

— Хорошо, — сказала она. — Сначала периметр.

Лаборатория была огромна.

Главный зал — тот, который мы увидели первым, — был лишь центральным узлом. От него, как лучи от звезды, расходились коридоры, ведущие в боковые помещения. Мы осмотрели их один за другим — методично, как учили.

Первое — серверная. Стойки с оборудованием, чёрные ящики, мигающие зелёными огоньками. Мигающие. Я остановилась, и сердце ударило так, что я почувствовала его в горле. — Торик, — позвала я. — Здесь есть электричество.

Он подошёл, осмотрел стойки. Провёл пальцем по корпусу.

— Автономное питание, — сказал он, и в голосе его прозвучало уважение. — Изотопный генератор. Рассчитан на десятилетия работы. Серверы — в спящем режиме, но живые. Данные сохранены.

Живые. Данные — живые. Три года прошло, мир рухнул, семьдесят процентов человечества сгорело в лихорадке и на кострах зачисток, — а серверы в скале мерно мигали зелёными огоньками и хранили секреты, ради которых всё это было создано.

Второе помещение — склад. Контейнеры. Те самые — класс «Альфа», герметичные, с маркировкой «Проект Эдем». Десятки контейнеров, уложенных на стеллажи, как снаряды в арсенале. Каждый — подписан, пронумерован, датирован.

Даты. Я прочитала ближайшую. Одиннадцать лет назад.

Одиннадцать лет. Мне было семнадцать. Я ходила в школу, учила латынь, мечтала стать врачом. А здесь, под толщей камня, кто-то уже создавал то, что через восемь лет уничтожит мир.

Третье помещение — виварий. Клетки. Пустые, чистые, с поилками и кормушками. На стенах — таблицы, графики, записи наблюдений за подопытными животными. Крысы, мыши, приматы. Я читала обрывки записей, и медицинское образование позволяло мне понимать то, что было написано, — дозировки, сроки инкубации, показатели летальности — и от этого понимания к горлу подступала тошнота, не имеющая отношения к температуре и ране в боку.

Они тестировали. Годами. Подбирали дозировку. Совершенствовались. Как инженеры совершенствуют двигатель — итерация за итерацией, версия за версией, каждый раз чуть эффективнее, чуть точнее, чуть смертоноснее.

Четвёртое помещение — жилой блок. Две койки, стол, стулья, запас сухого пайка в ящиках. На одной из коек — спальный мешок, расстёгнутый, скомканный. На столе — кружка с высохшими остатками чая. Рядом — очки в тонкой оправе.

Кто-то жил здесь. Жил и работал. И ушёл — или не ушёл.

Я осмотрела блок внимательнее. На стене, у изголовья второй койки, была прикреплена фотография. Маленькая, любительская, с загнутыми уголками. Мужчина и женщина. Он — невысокий, лысоватый, в лабораторном халате, с усталой улыбкой. Она — молодая, тёмноволосая, держит на руках ребёнка.

Учёный. Семья. Обычная жизнь, которая существовала параллельно с проектом, уничтожившим миллиарды.

Я сняла фотографию со стены и положила в карман. Рядом с шоколадкой.

Мы вернулись в главный зал. Нара уже не могла ждать — я видела, как дрожали её руки, как она стискивала челюсти, сдерживая нетерпение.

— Действуйте, — сказала я.

Она подошла к стеллажу с папками. Взяла первую — бледно-зелёную, с номером 001 на корешке. Открыла.

Тишина.

Нара читала. Страница за страницей. Перчатки шуршали по бумаге. Глаза за стеклом респиратора бегали по строчкам — быстро, жадно, как глаза человека, умирающего от жажды, который нашёл колодец.

Торик стоял у двери, контролируя коридор. Я подошла к Наре.

— Что там?

Она не ответила. Перевернула ещё одну страницу. Ещё одну. Остановилась.

— Рея, — голос её был хриплым, глухим. — Подойдите.

Я встала рядом и посмотрела на страницу, которую она держала.

Таблица. Строки, столбцы, числа. Сверху — заголовок, набранный стандартным довоенным шрифтом:

«Проект Эдем. Протокол полевых испытаний. Фаза III. Штамм E-7.»

Фаза III. Полевые испытания. Не лабораторные. Полевые.

— Они проводили полевые испытания? — спросила я, и голос мой прозвучал так, словно принадлежал кому-то другому.

— Смотрите на даты, — сказала Нара.

Я посмотрела. Столбец дат. Первая — шесть лет назад. Последняя — три года и четыре месяца назад.

Три года и четыре месяца. За четыре месяца до начала пандемии.

— Штамм E-7, — продолжила Нара. — Это предфинальная версия. После неё — E-8, который, судя по перекрёстным ссылкам, и стал тем самым вирусом, который — Она не договорила. Проглотила конец фразы, как горькую таблетку.

Я перевернула страницу. Следующая — протокол полевого испытания. Локация — зашифрована, буквенно-цифровой код. Количество испытуемых — двенадцать. Возраст — от двадцати двух до пятидесяти шести.

Испытуемых.

Двенадцать человек. Живых людей. Которых заразили экспериментальным вирусом. Намеренно. В контролируемых условиях. И наблюдали, как они умирают.

— Результаты, — я ткнула пальцем в нижнюю часть таблицы. — Летальность — сто процентов. Среднее время до летального исхода — шестьдесят восемь часов. Максимальное — сто два.

— Они подбирали параметры, — голос Нары стал тихим. Очень тихим. — Как подбирают температуру обжига для керамики. Чуть больше, чуть меньше. Ещё разок. Ещё штатмчик. Ещё двенадцать человек.

Я закрыла папку.

Руки не дрожали. Я не позволила им дрожать.

— Серверы, — сказала я. — Нара, вы можете извлечь данные?

— Мне нужен час. Может, два. Если серверы в рабочем состоянии — я скопирую всё на портативный носитель.

— У нас есть два часа. Торик — обеспечить периметр. Я — на связь с Вессеном.

Я вышла в коридор и прислонилась к стене. Сняла респиратор на десять секунд — нарушение протокола, плевать — и вдохнула. Воздух коридора — затхлый, холодный, мёртвый — показался мне чище любого лесного ветра.

Рация зашипела.

— Вессен. Доклад. Периметр чист. Наблюдаю оленя на северном склоне. Больше ничего.

— Принято. Мы внутри. Работаем. Расчётное время — два часа.

— Понял. Жду.

Я выключила рацию и закрыла глаза.

Бледно-зелёные папки. Двенадцать испытуемых. Штамм E-7. Фаза III.

Отец знал. Я видела это в его глазах тогда, восемь лет назад. Страх. Он знал — и боялся. Но что он сделал? Что он мог сделать? Был ли он частью этого — или пытался остановить? Санкционировал — или обнаружил слишком поздно?

«Что ты знал, Берг?»

Я открыла глаза. Достала из кармана шоколадку. Развернула обёртку — пальцы пахли антисептиком и чужой историей — и отломилась долька.

Горький шоколад. Вкус, который я помнила из прошлой жизни — из университетских ночей, из зубрёжки перед экзаменами, из мира, который ещё не знал, что обречён.

Шоколад таял на языке — горький, тёплый, живой.

Я завернула остаток, убрала обратно в карман и надела респиратор.

Пора возвращаться к работе. Пора доставать правду из-под камня.

Правду, которая, я уже знала это, окажется горче любого шоколада.

Из глубины лаборатории доносился мерный гул серверов — тихий, ровный, как дыхание спящего чудовища.

Чудовище не спало.

Оно ждало.

Глава 7 Правда Берга

Нара работала.

Я стояла за её спиной и смотрела, как её пальцы — в латексных перчатках, быстрые, точные — бегали по клавиатуре терминала, который ожил после того, как Торик подключил его к серверной стойке. Экран — старый, жидкокристаллический, с трещиной в правом верхнем углу — светился мертвенно-голубым, и по нему ползли строчки кода, файловые деревья, каталоги.

Сервер помнил всё.

Одиннадцать лет данных. Отчёты, протоколы, переписка, видеозаписи, геномные последовательности, таблицы, графики, приказы. Терабайты информации, спрессованные в чёрных ящиках, которые мигали зелёными огоньками и не знали, что мир, создавший их, перестал существовать.

— Структура файлов — иерархическая, — говорила Нара, не оборачиваясь. Голос через респиратор звучал глухо, как из-под воды. — Корневой каталог — «Эдем». Подкаталоги — по фазам проекта. Фаза I — фундаментальные исследования. Фаза II — лабораторные испытания. Фаза III — полевые. Фаза IV

Она замолчала.

— Фаза IV? — спросила я.

— «Развёртывание».

Слово повисло в воздухе лаборатории — тяжёлое, неподъёмное, как надгробная плита.

Развёртывание. Не «испытания». Не «тестирование». Развёртывание. Военный термин.

Термин для описания начала операции.

— Дата? — спросила я.

— Три года и двенадцать дней назад.

За две недели до первых официальных сообщений о вспышке. За две недели до того, как в юго-восточных провинциях начали умирать люди. За две недели до конца.

— Копируйте всё, — сказала я. — Всё, что сможете. Начните с четвёртой фазы.

— Уже копирую.

Индикатор прогресса пополз по экрану — медленно, мучительно. Портативный носитель, который Нара привезла из сектора «Дельта», принимал данные, и маленький огонёк на его корпусе пульсировал — быстро, лихорадочно, как сердце загнанного зверя.

Я отошла.

Мне нужно было двигаться. Стоять на месте — значит думать, а думать сейчас было опасно, потому что мысли шли не в ту сторону. Не к тактике, не к миссии, не к маршруту обратно. Они шли к отцу. К бледно-зелёной папке. К его глазам, в которых я увидела страх.

Я подошла к стеллажу с документацией.

Папки стояли ровно, по порядку номеров. Зелёные — проектная документация. Серые — административная переписка. Синие — отчёты внешних ведомств.

Я потянулась к серым.

Административная переписка. Служебные записки, распоряжения, согласования. Скуднейшие, бюрократические документы, от которых в прежней жизни слипались глаза. Но именно в них — я знала это, потому что выросла во дворце и видела, как работает государственная машина, — именно в них прятались настоящие решения. Не в парадных указах и не в публичных речах. В записках. В резолюциях на полях. В том, что написано между строк.

Я взяла первую папку. Номер 041. Дата — семь лет назад.

Открыла.

Служебная записка. Гриф: «Совершенно секретно. Уровень допуска 5».

Пятый уровень. Монарх.

«Его Величеству Бергу Энноту, королю.

От: Директор Специального исследовательского управления (СИУ), генерал-лейтенант В. Хольм.

Тема: Проект «Эдем». Запрос на расширение финансирования и переход к Фазе II.

Ваше Величество,

Имею честь доложить, что работы по Проекту «Эдем» в рамках Фазы I (фундаментальные исследования) завершены с результатами, превосходящими прогнозные показатели. Штамм E-3, разработанный на основе модифицированного нейротропного вируса, продемонстрировал стабильную видоспецифичность (коэффициент поражения Homo sapiens — 99,7%, перекрёстная контаминация прочих биологических видов — 0,0%) и управляемый инкубационный период (3,5–4,2 часа в лабораторных условиях).

Для перехода к Фазе II (лабораторные испытания расширенного масштаба) прошу Вашего одобрения на»

Я не дочитала абзац. Мой взгляд упал ниже — туда, где на белом поле записки, под печатным текстом, была резолюция.

Почерк отца. Я узнала бы его из тысячи. Крупный, угловатый, с характерным нажимом на вертикальных штрихах — почерк человека, который привык, что написанное им становится законом.

Резолюция была короткой.

Одно слово.

«Отклонено».

И подпись. Б. Эннот. Дата — семь лет назад.

Я перевернула страницу. Следующий документ — ещё одна записка. Тот же Хольм. Месяцем позже.

«В свете Вашего решения об отклонении запроса на переход к Фазе II, считаю необходимым обратить Ваше внимание на стратегические последствия прекращения проекта. Геополитическая обстановка»

Дальше — три страницы аргументации. Плотной, гладкой, выстроенной с безупречной логикой профессионального манипулятора. Угрозы извне. Соседние государства, ведущие аналогичные разработки. Необходимость опережения. Оборонный потенциал. Стратегическое сдерживание.

Резолюция отца:

«Отклонено повторно. Биологическое оружие не может быть инструментом обороны. Прошу подготовить план полной консервации проекта в 30-дневный срок. Б. Эннот.»

Тридцать дней. Он дал им тридцать дней на то, чтобы всё закрыть.

Я перевернула ещё несколько страниц. Третья записка. Четвёртая. Пятая. Хольм писал снова и снова — настойчиво, упрямо, каждый раз находя новые аргументы, новые формулировки, новые углы атаки. Он был терпелив. Как вирус.

Резолюции отца менялись — не по сути, по тону.

«Отклонено. Вопрос закрыт.»

«Отклонено. Повторное обращение по данному вопросу считаю недопустимым.»

«Ген.-лейтенанту Хольму: явиться для личного доклада. Немедленно.»

И последняя — размашистая, злая, с нажимом, продавившим бумагу:

«Проект «Эдем» ЗАКРЫТ. Все материалы подлежат уничтожению. Персонал — передислокация. Объект — консервация. Исполнить в 14-дневный срок. Контроль исполнения — лично. Б. Эннот.»

Дата — шесть лет назад.

За три года до пандемии.

Он закрыл проект. Приказал уничтожить материалы. Лично контролировал.

Но мы стояли в лаборатории, которая не была уничтожена. Серверы мигали. Контейнеры лежали на стеллажах. Папки — на полках.

Приказ не был исполнен.

Я тянула следующую папку с полки — руки двигались сами, механически, как во время операции, когда тело работает отдельно от сознания, — и внутри меня что-то медленно разворачивалось. Не облегчение — для облегчения было слишком рано. Не радость — какая радость может быть в подземной лаборатории, полной доказательств рукотворного апокалипсиса. Что-то другое. Тёплое, болезненное, как кровь, возвращающаяся в отмороженные пальцы.

Он пытался.

Три года я носила в себе вопрос, который не задавала вслух, потому что боялась ответа. Знал ли он. Участвовал ли. Был ли мой отец — Берг Эннот, человек, который не умел лгать, — причастен к тому, что убило мир.

Он пытался остановить.

Папка номер 058. Серая. Переписка.

«Его Величеству Бергу Энноту, королю.

От: Начальник Королевской службы безопасности, генерал Д. Штраус.

Тема: Результаты инспекции объекта «Эдем».

Ваше Величество,

По Вашему личному поручению мною проведена инспекция объекта «Эдем» с целью контроля исполнения Вашего распоряжения о консервации и уничтожении материалов проекта.

Докладываю: объект ЗАКОНСЕРВИРОВАН, однако ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НЕ ПРОИЗВЕДЕНО. По информации, полученной в ходе инспекции, генерал-лейтенант Хольм издал внутреннее распоряжение о сохранении ключевых образцов и документации, мотивируя это «необходимостью обеспечения возможности возобновления работ в случае изменения стратегической обстановки».

Данное распоряжение является прямым нарушением Вашего приказа.

Рекомендую: 1) Немедленное отстранение ген.-лейт. Хольма от должности. 2) Возбуждение расследования по факту неисполнения королевского приказа. 3) Направление специальной группы для завершения уничтожения материалов.

С уважением, генерал Штраус.»

Резолюция отца — я прочитала её дважды, потому что в первый раз глаза отказались верить:

«1) Согласен. Хольма отстранить. 2) Расследование начать немедленно. 3) Группу направить. Лично возглавлю. Б. Эннот.»

Лично.

Берг Эннот, король, собирался лично ехать в подземную лабораторию, чтобы убедиться, что всё уничтожено. Лично. Не генерала послать, не комиссию, не инспектора — сам. Потому что уже не доверял. Потому что понимал, что система, которой он управлял, вышла из-под контроля.

Я перевернула страницу. Следующий документ.

И мир качнулся.

«СЕКРЕТНО. Уровень 5.

Докладная записка.

От: Особый отдел СИУ.Кому: [адресат удалён]

Тема: Операция «Пересев».

В связи с намерением Его Величества лично провести инспекцию объекта «Эдем» и угрозой полного уничтожения результатов одиннадцатилетней работы, Особый отдел СИУ считает необходимым принять ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ для сохранения проекта.

Предлагается:

Эвакуация ключевых образцов (штампы E-5 — E-7, геномная база данных, протоколы синтеза) на резервный объект (координаты — Приложение 1).

Переподчинение оставшегося персонала проекта напрямую Особому отделу, минуя королевскую канцелярию.

В отношении Его Величества — рекомендуется операция дезинформации с целью создания убеждённости в полном уничтожении материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Генерал-лейтенант Хольм проинформирован и выразил согласие.

Документ уничтожить после прочтения.»

Документ не был уничтожен. Он лежал в папке — аккуратно подшитый, датированный, подписанный. Либо кто-то забыл. Либо кто-то намеренно сохранил его — как страховку, как козырь, как доказательство на случай, если всё пойдёт не так.

Всё пошло не так.

Я стояла над столом, и бумага дрожала в моих руках — нет, не бумага. Руки. Впервые за три года мои руки дрожали. Не от холода. Не от температуры. От того, что я держала в пальцах доказательство предательства.

Они обманули его. Его собственные люди — генералы, директора спецслужб, учёные, которых он назначил, которым доверял, которым платил из королевской казны, — посмотрели ему в глаза, сказали «исполнено», и продолжили работу за его спиной.

Он закрыл проект. Они — открыли заново.

Он приказал уничтожить. Они — спрятали.

Он собирался лично проверить. Они — создали иллюзию.

А потом — через три года после этой записки — довели штамм до версии E-8. И выпустили его. «Развёртывание». Фаза IV.

И мир умер.

— Рея.

Голос Нары. Далёкий, как из другой комнаты. Я не сразу поняла, что она стоит рядом. Я не слышала, как она подошла.

— Рея. Вы в порядке?

Я посмотрела на неё. Респиратор. Глаза за стеклом — тёмные, внимательные, обеспокоенные.

— Читайте, — сказала я и протянула ей папку.

Нара взяла. Читала молча. Долго. Страница за страницей, документ за документом. Лицо её не менялось — или я не видела изменений за респиратором, — но руки, державшие папку, становились всё более неподвижными. Так бывает, когда человек сознательно контролирует каждую мышцу, чтобы не выдать того, что происходит внутри.

Она дочитала. Закрыла папку. Положила на стол.

— Он пытался остановить, — сказала она. Не вопрос. Констатация.

— Да.

— Его обошли.

— Да.

Пауза. Нара сняла перчатку — нарушение протокола, но я не стала останавливать — и потёрла переносицу.

— Хольм, — произнесла она медленно. — Виктор Хольм. Я знаю это имя. Знала. До пандемии он считался одним из ведущих вирусологов страны. Публикации в международных

журналах, награды, репутация. — Она помолчала. — После начала эпидемии — исчез. Предполагалось, что погиб.

— Или ушёл на резервный объект, — сказала я. — Вместе с образцами.

Нара посмотрела на меня.

— Вы думаете, он жив?

— Я думаю, что человек, который обманул короля, спрятал биологическое оружие и запустил пандемию, — не из тех, кто умирает случайно. Он планировал. Он планировал всё. Включая собственное выживание.

Я вернулась к стеллажу. Мне нужно было больше. Больше документов, больше дат, больше имён.

Папка 063. Зелёная. Проектная документация.

Внутри — отчёт о Фазе III. Полевые испытания. Те самые, которые я видела раньше — двенадцать испытуемых, штамм E-7, летальность сто процентов. Но теперь, зная контекст, я читала иначе.

Дата полевых испытаний — четыре года назад. Через два года после того, как отец приказал всё уничтожить. Через два года после того, как ему доложили, что приказ исполнен.

Он не знал. Когда Берг Эннот ложился спать, когда подписывал указы, когда ужинал с мамой и обсуждал с ней дипломатические депеши, когда писал Эрику письма на базу, когда смотрел, как я собираю чемодан перед отъездом в университет, — в это время, в подземной лаборатории, которую он считал законсервированной и пустой, люди в белых халатах вводили экспериментальный вирус живым людям и записывали, сколько часов те будут умирать.

Я нашла ещё один документ. Папка 071. Серая.

Письмо. Не служебная записка — письмо. Рукописное. Почерк отца.

«Штраус,

Я получил Ваш рапорт об отстранении Хольма и результатах расследования. Благодарю.

Но мне не даёт покоя одно обстоятельство, которое я не могу сформулировать точно, и потому пишу не как король — как человек, который не спит третью ночь.

Хольм — не безумец. Он учёный. Блестящий, дисциплинированный, рациональный. Я помню его доклад на совете — пять лет назад, когда проект только начинался. Он говорил о биологической угрозе, о необходимости опережающих исследований, о том, что если не мы, то кто-то другой. И он был убедителен. Настолько, что я санкционировал Фазу I. Фундаментальные исследования. Только фундаментальные. С чётким ограничением: никаких испытаний, никакого оружия, только изучение механизмов. Теоретическая работа.

Я ошибся.

Не в том, что разрешил. В том, что поверил, будто можно открыть дверь наполовину. Двери не бывают полуоткрытыми. Они открыты или закрыты.

Я открыл дверь, Штраус. И то, что за ней обнаружилось, — моя ответственность.

Сейчас я прошу Вас лично — не как король, а как человека — убедиться, что эта дверь закрыта навсегда. Не оставляйте щели. Ни одной. Они найдут любую щель и пролезут.

И ещё — прошу Вас сохранить это письмо. Если когда-нибудь, после меня, кто-то захочет знать, почему я принял те решения, которые принял, — пусть прочтут. Пусть знают, что я пытался.

Берг.»

Пусть знают, что я пытался.

Я стояла посреди лаборатории, держа в руках письмо отца, и мир вокруг меня расплылся — не от слёз, нет. От температуры. От усталости. От того, что тело, три года державшее оборону, вдруг осознало, что один из фронтов можно закрыть, и от этого осознания ослабело.

Он не был виноват.

Берг Эннот не создавал вирус. Он не санкционировал Фазу III. Он не знал о полевых испытаниях. Он не знал о «Развёртывании». Он сделал то, что мог — приказал закрыть, приказал уничтожить, лично контролировал. И его обманули. Люди, которых он назначил. Система, которой он доверял. Машина, которую он собирал по винтику и которая оказалась сильнее создателя.

Он открыл дверь. И не смог её закрыть.

Не потому что был слаб. Потому что был один.

Я аккуратно сложила письмо — по линиям сгиба, точно так, как оно было сложено, — и убрала в нагрудный карман.

— Рея, — голос Нары. — Копирование завершено.

Я подошла к терминалу. На экране — надпись: «Передача данных завершена. Объём: 2,7 ТБ».

Нара держала в руке портативный носитель — маленький, чёрный, размером с указательный палец. Два целых и семь десятых терабайта. Вес — граммов тридцать. Содержимое — конец света.

— Всё? — спросила я.

— Всё, что было на сервере. Протоколы, геномные данные, переписка, видеозаписи. — Она помедлила. — И кое-что ещё. В отдельном каталоге, защищённом паролем. Я не смогла его взломать на месте, но скопировала целиком. На базе, с нормальным оборудованием, разберёмся.

— Что за каталог?

— Название — «Антитеза».

Антитеза. Противоположность тезису. Контраргумент. Противоядие.

Я посмотрела на Нару. Она смотрела на меня. И в её глазах — впервые за три дня — я увидела то, чего не видела ни у кого в «Эгиде» уже очень давно.

Надежду.

— Вы думаете — начала я.

— Я не думаю, — перебила она. — Я предполагаю. Это разные вещи. Но если кто-то из учёных проекта — хотя бы один — испытывал сомнения, если хотя бы один из них работал не только над оружием, но и над защитой от него — Она подняла носитель. — То ответ — здесь.

Антитеза. Противоядие. Вакцина?

Не загадывать. Не надеяться раньше времени. Надежда без доказательств — яд, который убивает медленнее вируса, но вернее.

— Уходим, — сказала я. — Забираем всё, что можем унести. Папки — ключевые, с резолюциями и протоколами Фазы IV. Носитель. Образцы — Нара, что вам нужно из контейнеров?

— Штамм E-1, — ответила она без запинки. — Первый. Исходный. Если он сохранился.

— Торик — помоги ей в складском помещении. Я — собираю документацию.

Двадцать минут. Мы работали молча, быстро, сосредоточенно. Я снимала с полок папки — не все, это было невозможно, их были сотни, — а те, которые содержали ключевые документы: приказы отца, докладные Хольма, протоколы «Развёртывания», списки персонала. Складывала в рюкзак, перекладывая бинтами, чтобы не помялись. Бинты для этого не предназначены. Но бинтов у меня было больше, чем файловых папок, а папки сейчас были важнее.

Торик и Нара вернулись из склада. Нара несла герметичный контейнер размером с термос — маленький, серебристый, с маркировкой «E-1. Исходный штамм. Хранение: -80°C».

— Криоконтейнер автономный, — сказала она, заметив мой взгляд. — Изотопное охлаждение. Температура внутри — минус семьдесят восемь. Штамм жив.

Жив. Первый. Начало начал. Прародитель того, что убило семьдесят процентов человечества. И, может быть, — ключ к спасению остальных.

— Вессен, — я нажала кнопку рации. — Мы выходим. Три минуты.

— Принял. Периметр чист.

Я в последний раз обвела взглядом лабораторию. Столы, микроскопы, холодильные камеры. Стеллажи с папками, которые мы не смогли забрать. Серверы, мигающие зелёным.

Мы вышли через проём. Торик задвинул плиту обратно — не до конца, щель осталась, но издали она снова выглядела как трещина в скале. Вессен ждал на опушке, и в его бесцветных глазах я прочитала вопрос, который он не задал вслух.

— Нашли, — сказала я.

Он кивнул.

— Домой? — спросил Торик.

— Домой.

Мы шли обратно. Тем же маршрутом — через лес, по звериным тропам, мимо мёртвого Крайнева, мимо одичавшей сирени, мимо ржавых остовов чужих жизней. Рюкзак стал тяжелее — папки, контейнер, носитель. Бок болел. Температура не падала. Ноги несли меня скорее по инерции, чем по воле.

Но я шла.

И впервые за три года — нет, впервые за восемь лет, с того дня, когда я увидела папку на столе отца и его испуганные глаза, — я знала, куда иду. Не просто «на базу». Не просто «вперёд». Не просто «подальше от смерти».

К правде.

Правда лежала в нагрудном кармане — сложенное по сгибам письмо, написанное рукой человека, который сделал всё, что мог, и которого предали те, кому он доверял.

«Пусть знают, что я пытался».

Знаю, папа. Теперь знаю.

И в моём рюкзаке, в серебристом термосе, при температуре минус семьдесят восемь градусов, спал вирус, который эту землю опустошил.

А в чёрном носителе размером с палец, возможно, пряталось слово, которого мы ждали три года.

«Антитеза».

Противоядие.

Мы шли домой.

Глава 8 Засада

До базы оставалось двенадцать километров.

Двенадцать. Зона патрулирования «Эгиды». Почти дом. Почти безопасность — насколько это слово вообще имело смысл в мире, где безопасности не существовало.

Мы шли четвёртые сутки. Обратный путь давался тяжелее — усталость, накопившаяся за дни марша, лежала на плечах свинцовой шкуркой, которую невозможно сбросить. Рюкзак, потяжелевший от папок и контейнеров, врезался в лямки, и каждый шаг отдавался в боку уже не болью — онемением. Тело перестало жаловаться. Тело смирилось. Это было плохо: когда организм перестаёт подавать болевые сигналы, значит, он экономит ресурсы на что-то более важное. На то, чтобы просто не упасть.

Температура держалась. Тридцать восемь и два — я мерила утром, пряча термометр от Нары, которая и без термометра всё видела, но молчала. Молчала, потому что знала: я всё равно пойду. Потому что в моём рюкзаке — носитель с данными «Эдема», папки с доказательствами, письмо отца. И в рюкзаке Нары — серебристый криоконтейнер с исходным штаммом. Груз, который стоил дороже любого из нас.

Утро было серым, влажным. Низкие облака цеплялись за верхушки елей, и воздух пах дождём — тем особенным, предгрозовым запахом, когда давление падает и мир замирает в ожидании.

Мы шли вдоль старой просеки. Деревья по обе стороны стояли плотной стеной, но сама просека — бывшая линия электропередач, столбы давно рухнули и заросли мхом — была относительно открытой. Трава по пояс, иван-чай, молодая поросль берёзок. Обзор — метров сорок в каждую сторону. Вессен шёл впереди, Торик замыкал. Нара — между мной и Ториком, прижимая к себе рюкзак с контейнером.

Двенадцать километров. Три часа ходьбы. Может, четыре — с нашим темпом, с моим боком, с усталостью, которая не давала разогнать шаг выше четырёх километров в час.

Три часа — и мы дома.

Мы не дошли.

Вессен увидел первым.

Нет — почувствовал. Я видела, как изменилось его тело за долю секунды до того, как он поднял кулак. Плечи опустились, центр тяжести сместился, шаг оборвался на полувздохе — и он замер. Как замирает зверь, учуявший хищника.

Я остановилась. Рука — на кобуре. Сердце — ровно. Три года войны вытравили из тела способность к панике. Осталась только готовность.

Вессен медленно опустился на одно колено и указал вперёд. Два пальца. Потом — влево. Три пальца. Потом — вправо. Ещё два.

Семь человек. Впереди и с флангов. Полукольцо.

Засада.

Я жестом приказала группе залечь. Мы опустились в траву — одновременно, без звука, как четыре тени, упавшие на землю. Трава была высокой, мокрой от утренней росы, и от неё пахло жизнью — сладковато, пряно, оглушительно.

Десять секунд тишины. Двадцать.

Потом — голос.

— Эй! — Грубый, хриплый, с той развязной интонацией, которая свойственна людям, привыкшим говорить с позиции силы. — Мы вас видим. Оружие на землю. Рюкзаки — на землю. Руки за голову. И никто не умрёт.

Мародёры.

Я скосила глаза вправо. Торик лежал в трёх метрах, и его лицо — обычно добродушное, круглое — было каменным. Левая рука медленно ползла к разгрузке, к под сумку с гранатами. — Не надо, — одними губами сказала я.

Гранаты — не вариант. Нара с контейнером в двух метрах позади. Осколки. Ударная волна. Криоконтейнер может не выдержать.

Вессен лежал впереди, невидимый в траве. Винтовка — уже в руках. Я знала это, хотя не видела — потому что Вессен всегда, в любой ситуации, первым делом брался за винтовку, как утопающий хватается за верёвку.

— Считаю до десяти! — крикнул голос. — Потом мы входим. И тогда — без гарантий.

Один. Два. Три.

Я оценивала. Семь человек — это много для четверых, из которых один раненый и один гражданский. Но расположение — полукольцо — означало, что они не ожидают серьёзного сопротивления. Они видели нас на просеке — четыре фигуры, одна явно нездорова, другая в гражданском. Лёгкая добыча.

Они не знали про Вессена.

Четыре. Пять. Шесть.

Я повернула голову к Наре. Она лежала на боку, обхватив рюкзак обеими руками, как мать обнимает ребёнка. Глаза — огромные, тёмные, но без паники. Учёный. Мозг. Мозг не паникует — мозг считает варианты.

— Нара, — шепнула я. — При первом выстреле — ползком назад. В лес. Не вставать. Не оглядываться.

Она кивнула.

Семь. Восемь.

— Вессен, — я даже не шептала — выдохнула, зная, что он услышит. — Работай.

Девять.

Первый выстрел прозвучал так, как всегда звучат выстрелы Вессена — сухо, коротко, почти буднично. Как щелчок замка. Как хруст сломанной ветки.

Крик. Короткий, захлёбывающийся. Тело — где-то впереди, за стеной иван-чая — рухнуло в траву.

Второй выстрел. Две секунды после первого. Ещё один крик — этот оборвался быстрее.

Мир взорвался.

Автоматные очереди — беспорядочные, панические, во все стороны. Пули свистели над головой, сбивая верхушки травы, впивались в землю рядом, поднимая фонтанчики влажного грунта. Я прижалась к земле так, что почувствовала вкус почвы на губах.

Третий выстрел Вессена.

Четвёртый.

Он стрелял с интервалом в полторы-две секунды. Между выстрелами — менял позицию, я слышала шорох его тела в траве, короткий, змеиный. Он двигался и стрелял, стрелял и двигался, и каждый выстрел означал минус один.

Пятый.

Ответный огонь стал реже. Из семи стволов стреляли три. Потом два.

Торик поднялся на колени и открыл огонь из автомата — короткими, дозированными очередями, как учили. Не веером — точно, по вспышкам.

Шестой выстрел Вессена.

Один ствол.

Я не увидела его. Не успела.

Он появился справа — оттуда, откуда я не ожидала, потому что Вессен указал на правый фланг два пальца, и оба должны были быть мертвы. Но этот — третий? спрятавшийся?

оставший от основной группы? — вынырнул из леса за моей спиной, и я услышала шаги — тяжёлые, быстрые — прежде чем успела развернуться.

Удар.

Не пуля — рука. Огромная, жёсткая ладонь сгребла меня за разгрузку, рванула вверх. Мир перевернулся. Я дёрнулась, попыталась выхватить пистолет — и получила второй удар, в висок, тупой, оглушающий. Звёзды. Темнота по краям. Земля ушла из-под ног.

Меня тащили.

Волокли по траве, по земле, по камням. Я цеплялась за что-то — за стебли, за корни, — пальцы скользили по мокрой траве и не находили опоры. Рюкзак — мой рюкзак с папками, с носителем, с письмом отца — бил по спине.

Двигатель. Рёв двигателя — хриплый, надсадный, как кашель больного зверя. Джип. Где-то рядом, за деревьями, стоял джип, и его мотор уже работал.

Меня швырнули на заднее сиденье. Голова ударилась о стойку. Темнота мигнула и отступила. Дверь захлопнулась.

Рюкзак — всё ещё на мне.

Джип рванул с места. Инерция вдавила меня в спинку сиденья. За стеклом — деревья, размазанные в зелёную полосу. Скорость. Мы неслись по просеке — по той самой, по которой мы шли, — и лес мелькал по бокам, как кадры плёнки, прокрученной на ускоренной перемотке.

За рулём — один. Широкая спина в камуфляжной куртке, бритый затылок, толстая шея. Он вёл одной рукой, второй — придерживал автомат на пассажирском сиденье.

Один. Только один.

Я лежала на заднем сиденье, и мир плыл перед глазами — мутный, раскачивающийся, как дно лодки в шторм. Висок пульсировал тупой болью, и я чувствовала, как по щеке стекает что-то тёплое — кровь или пот, не разобрать.

Думать. Думать, а не чувствовать.

Он один. Джип старый, управление — ручное. Обе его руки заняты. Оружие на пассажирском сиденье — не в руках. Скорость — высокая, значит, он не может одновременно вести и контролировать меня.

Мой пистолет. Я скосила глаза вниз. Кобура пуста. Выбил, когда тащил. Нож — на поясе. Нет. Тоже пуст. Потеряла при волочении.

Рюкзак. Я лежала на рюкзаке. Внутри — хирургический набор. Скальпель.

Медленно — так медленно, что каждое движение занимало вечность — я завела правую руку за спину. Пальцы нащупали клапан рюкзака. Расстегнуть — без звука, без рывка. Клапан поддался.

Рука скользнула внутрь. Мимо папок — плотных, бумажных. Мимо бинтов. Мимо пенала с медикаментами. Глубже. Хирургический набор — жёсткий чехол, застёжка-молния. Открыть — пальцами, на ощупь. Молния поехала — тихий, едва слышный звук, поглощённый рёвом двигателя.

Скальпель. Пальцы обхватили рукоятку. Холодная, металлическая, знакомая. Инструмент хирурга. Инструмент, который я держала в руках тысячи раз.

Я села.

Водитель увидел движение в зеркале заднего вида — дёрнулся, начал поворачивать голову —

Я ударила.

Не в шею — слишком рискованно на скорости. В руку. В правую руку, которая держала руль. Скальпель вошёл в предплечье — точно, глубоко, рассекая разгибатели запястья. Хирургический разрез. Чистый. Профессиональный.

Он закричал. Рука разжалась. Руль крутанулся влево.

Джип вильнул. Я вцепилась в спинку переднего сиденья. Деревья — прямо по курсу. Водитель схватился за руль левой рукой, пытаясь выровнять. Правая висела — бесполезная, залитая кровью. Скальпель торчал из предплечья, как флажок на карте.

Я перегнулась через спинку, схватила автомат с пассажирского сиденья — тяжёлый, маслянистый, — и ткнула стволом ему в бок.

— Тормози.

Он повернул голову. Лицо — красное, перекошенное от боли и ярости. Глаза — маленькие, свиные, налитые кровью.

— Тормози, — повторила я. — Или я нажму. И мне не нужны обе руки, чтобы нажать на спусковой крючок.

Он затормозил.

Джип остановился — резко, с визгом, качнувшись на рессорах. Меня бросило вперёд, но я удержалась, вцепившись в подголовник.

— Выходи, — сказала я. — Медленно.левой рукой открой дверь. Выйди. Ляг на землю. Лицом вниз.

Он подчинился. Не из послушания — из боли. Правая рука не работала, кровь капала на сиденье, на руль, на педали. Он выполз из машины и лёг в траву. Большой, тяжёлый, как мешок.

Я вышла. Ноги не держали — адреналин, который три минуты назад превратил меня в машину, уходил, и вместо него приходила дрожь. Мелкая, неконтролируемая, от кончиков пальцев до корней зубов.

Я стояла на просеке, в сотнях метров от того места, где на мою группу напали, с чужим автоматом в руках, с рюкзаком на спине, с кровью на лице и на пальцах — своей и чужой.

Одна.

Я не знала, куда меня увезли. Просека тянулась в обе стороны — одинаковая, бесконечная, заросшая иван-чаем. Компас — в рюкзаке. Я достала его. Стрелка показала: джип ехал на юго-запад. Значит, база — на северо-восток. Значит, назад.

Но сколько? Пять минут на скорости — это километров шесть-восемь. Пешком — полтора-два часа. С моим боком — три.

Водитель лежал в траве. Я забрала у него патроны — два магазина, — нож, флягу. Скальпель оставила в ране — вынимать в полевых условиях без перевязки опасно, он истечёт кровью. Пусть лежит.

— Если выживешь, — сказала я ему, — подумай о том, кем ты был до всего этого. И кем стал.

Он не ответил. Только смотрел на меня снизу вверх — маленькими, злыми глазами — и молчал.

Я развернулась и пошла на северо-восток.

Через двести метров мир покачнулся.

Я остановилась, упёрлась рукой в ствол берёзы и закрыла глаза. Тошнота. Головокружение. Удар по виску — возможно, лёгкое сотрясение. Температура. Бок, который молчал последние полчаса, вдруг проснулся и заговорил — громко, настойчиво, со всей болью, которую копил.

Открыть глаза. Идти. Каждый шаг — отдельная задача. Не думать о следующем. Только этот. Вот этот. И вот этот.

Через километр я проверила рюкзак.

Папки — на месте. Носитель — на месте. Письмо отца — в нагрудном кармане, рядом с шоколадкой. Всё на месте.

Всё, кроме одного.

Криоконтейнер. Нара несла его в своём рюкзаке. Но в суматохе — когда меня тащили к джипу, когда мир перевернулся — я видела, как Нара падала, как рюкзак слетел с её плеча. Я не видела, что было дальше.

Я остановилась. Проверила свой рюкзак ещё раз. Тщательно, карман за карманом.

И нашла.

На дне. Под папками. Маленький серебристый термос, который — я вспомнила — Нара передала мне вчера вечером, на привале, когда перекладывала содержимое рюкзака. «Пусть будет у вас, — сказала она. — Мой рюкзак слишком мягкий, контейнер бьётся о кейс с реактивами. У вас — папки, они создают жёсткую структуру. Безопаснее».

Контейнер был у меня.

Я вытащила его. Серебристая поверхность — целая, без вмятин, без трещин. Дисплей температуры — не горел. Я встряхнула контейнер — осторожно, как гранату с выдернутой чекой — и услышала звук.

Звук, которого не должно было быть.

Тонкий, стеклянный, как перезвон ёлочных игрушек. Звук осколков, перекатывающихся внутри.

Я открыла крышку.

Внутренняя капсула — стеклянная ампула, в которой хранился штамм E-1, — была разбита. Осколки лежали на дне криокамеры, и между ними — замёрзшие капли биологического материала, белёсые, как иней.

Криокамера ещё держала температуру. Но крышка была открыта. Я её открыла. Температура начнёт расти. Материал — оттаивать. Вирус — если он ещё жив после трёх лет хранения, если криоконсервация сохранила его, — начнёт активизироваться.

Я закрыла крышку. Руки.

Мои руки.

Я трогала контейнер голыми руками. Без перчаток. Перчатки — в рюкзаке. Я не надела их, потому что проверяла рюкзак в спешке, потому что адреналин ещё не отпустил, потому что думала о папках и носителе, а не о биозащите.

Контактный путь передачи. Три-четыре часа инкубационного периода.

Я посмотрела на свои руки. Пальцы — длинные, жилистые, с мозолями от скальпеля. Руки хирурга. Руки, которые спасали людей. Руки, которые только что, возможно, стали смертельным оружием.

Штамм E-1 — исходный. Первый. Тот, от которого произошли все остальные. Старше, примитивнее, возможно, менее вирулентный, чем E-8, уничтоживший мир. А возможно — нет. Возможно — более.

Я не знала.

Экспресс-тесты. Я полезла в рюкзак. Медицинский пенал. Открыла. Пусто. Тесты — все до единого — были использованы. Пять — на мою группу. Пять — на группу Кайла. Десять тестов. Десять отрицательных результатов. И ни одного — для меня. Сейчас. Когда он нужен больше всего.

Я села на землю.

Просека тянулась в обе стороны. Тихая. Пустая. Птицы пели. Ветер нёс запах дождя.

Я сидела на земле, с разбитым контейнером в руках, с вирусом на пальцах, без тестов, без команды, без связи — рация осталась у Вессена, — в двенадцати километрах от базы, и думала одну-единственную мысль, ясную и холодную, как скальпель:

Я не могу идти на базу.

Если я заражена — каждый человек, которого я встречу, каждый, к кому прикоснусь, каждый, кто вдохнёт воздух рядом со мной, — станет следующим. Воздушно-капельный. Контактный. Три-четыре часа.

Я не могу идти на базу.

Я не пошла.

Я нашла укрытие — заброшенный охотничий домик в километре от просеки, покосившийся, с провалившейся крышей, но с одной уцелевшей комнатой, в которой ещё стояли стены и была дверь. Я вошла, закрыла дверь, села в угол и стала ждать.

Три-четыре часа. Если я заражена — через четыре часа появятся симптомы. Беспокойство. Тремор. Блеск в глазах.

Я ждала.

Час. Два. Три.

Руки не дрожали. Но я не была уверена — то ли это хороший знак, то ли адреналин маскирует тремор. Я смотрела на свои пальцы — внимательно, неотрывно, как учёный смотрит в микроскоп, — и считала пульс. Шестьдесят восемь. Семьдесят. Шестьдесят пять. Норма. Но «норма» — понятие растяжимое, когда у тебя температура, сотрясение и осколочное ранение, заживающее четвёртый день.

Четыре часа.

Пять.

Шесть.

Тремора не было. Слюнотечения не было. Беспокойства — было, но осознанного, рационального, человеческого. Не вирусного.

Это ничего не доказывало. Штамм E-1 — исходный. Его инкубационный период мог отличаться от E-8. Мог быть длиннее. Мог быть непредсказуемым.

Я не могла рисковать.

Я осталась.

Первые сутки были терпимыми.

Я пила воду из фляги, которую забрала у водителя. Ела остатки сухого пайка — два брикета, рассчитанных на один приём. Растянула на весь день. Перевязала бок — шов держал, но края раны покраснели, и при пальпации я чувствовала уплотнение. Начинаящийся инфильтрат. Нужен антибиотик — и он был в пенале, последний курс цефтриаксона. Я вколола первую дозу и легла.

Спала урывками. Просыпалась — проверяла руки. Тремор? Нет. Считала пульс. Норма. Осматривала себя — глаза, рот, рефлексy. Всё в порядке.

Или всё ещё не начиналось.

Вторые сутки.

Вода кончилась. Я нашла ручей в пятидесяти метрах от домика — узкий, холодный, бегущий по камням. Набрала фляги. Пила мелкими глотками, кипятить было не на чем. Рискованно, но обезвоживание убьёт быстрее кишечной инфекции.

Бок болел сильнее. Инфильтрат рос. Я вколола вторую дозу антибиотика и лежала, глядя в потолок, сквозь дыры в котором было видно серое небо.

Птицы пели. Дождь шумел. Мир жил.

Я проверяла руки каждый час.

Третьи сутки.

Тремора не было. Слюнотечения не было. Сознание — ясное. Слишком ясное. Болезненно ясное, как бывает, когда мозг, лишённый внешних раздражителей, начинает пожирать себя изнутри.

Я думала об отце. О письме, которое лежало в нагрудном кармане. «Пусть знают, что я пытался». Я думала о маме — о её прохладных пальцах, о жасминовом масле, о словах, которые она говорила мне перед зеркалом. Я думала об Эрике — о его последнем письме, которое я не успела прочитать. «Береги маму. Скучаю».

Я думала о Кайле. О тёмных глазах без выражения. О ладони — тёплой, сухой, сильной. О шоколадке, которая до сих пор лежала в кармане, и обёртка которой пахла другой жизнью.

Я проверяла руки.

Четвёртые сутки.

Паёк кончился. Температура поднялась — тридцать восемь и семь, но это могло быть от раны, от инфильтрата, от истощения. Не обязательно вирус. Не обязательно.

Я лежала в углу охотничьего домика, завернувшись в куртку, и слушала, как за стеной воеет ветер. Или волки. Или и то, и другое.

Рюкзак с документами стоял рядом. Я обняла его, как обнимают подушку, и закрыла глаза.

Руки не дрожали.

Пятые сутки.

Я услышала шаги.

Не звериные — человеческие. Тяжёлые, размеренные, уверенные. Шаг человека, который знает, куда идёт. Или человека, который ищет — методично, квадрат за квадратом, не пропуская ни одного укрытия.

Я подняла автомат. Руки — устойчивые. Тремора нет. Пять суток — и тремора нет. Инкубационный период Е-8 — три-четыре часа. Даже если Е-1 медленнее — в десять раз медленнее — пять суток достаточно. Более чем достаточно.

Но я не была уверена. Без теста — не могла быть уверена. А без уверенности — не имела права подпускать к себе живого человека.

Шаги приближались. Хруст веток. Шорох листвы. И голос.

— Нот!

Низкий. Глухой. Как удар по натянутому брезенту.

Кайл.

Я замерла. Автомат в руках стал неподъёмным. Или это руки стали слабыми — от голода, от жара, от пяти суток одиночества, в течение которых я ждала, что моё тело предаст меня, что пальцы начнут дрожать, что из глаз уйдёт разум, что я стану одной из них — бродячих, мычащих, пускающих слюну оболочек, в которых не осталось ничего человеческого.

— Нот! — громче. Ближе.

Я встала. Ноги подогнулись, я схватилась за стену. Добрела до двери. Открыла.

Он стоял в десяти метрах.

Такой же. Огромный. Два метра камня и молчания. Правая рука — в перевязи, мой бинт, мой шов. Форма — другая, чистая, не та, в которой я его зашивала. Автомат — за спиной. И глаза — тёмные, бездонные — смотрели на меня, и в них было то, чего я не видела при первой встрече.

Не интерес. Не безразличие.

Что-то другое. Что-то, для чего у меня не было названия.

За ним — трое бойцов. Вооружённые, настороженные, незнакомые. Не «Эгида». Другая база.

— Стой! — крикнула я. И голос — мой голос, хриплый, сорванный, чужой — прозвучал так, что Кайл остановился.

Он остановился не потому, что испугался. Он остановился потому, что услышал в моём голосе что-то, чему подчинился.

— Не подходи, — сказала я. — Кайл. Не подходи ко мне.

Он стоял неподвижно. Смотрел.

— Контейнер с исходным штаммом, — я говорила быстро, чётко, проглатывая слова, потому что боялась, что голос откажет. — Е-1. Первый вирус. Ампула разбилась. Я контак-

тировала без перчаток. Пять суток назад. Симптомов нет, но у меня нет экспресс-теста. Ни одного. Я не могу подтвердить, что я чиста. Я могу быть заразна.

Тишина.

Кайл стоял и смотрел на меня. Десять метров между нами — десять метров травы, мокрой от утреннего дождя, десять метров воздуха, в котором, может быть, летели невидимые частицы вируса, выдыхаемые мной с каждым словом.

Бойцы за его спиной переглянулись. Один — молодой, светловолосый — инстинктивно шагнул назад.

Кайл не шагнул.

Он стоял ровно, неподвижно, и смотрел на меня своими тёмными глазами. И молчал. Как тогда, на поляне, когда я извлекала из него пулю. Как тогда, когда протянул мне руку и сказал своё имя.

— Кайл, — мой голос сломался. — Пожалуйста. Не подходи. Мне нужен тест. Просто тест. Принеси мне тест — и отойди. Если отрицательный — я пойду с вами. Если положительный

Я не договорила. Потому что знала, что будет, если положительный. Потому что знала, что за тремором придёт безумие, за безумием — три дня мычания и слюны, а за ними — огонь. Огонь останавливает многое.

Кайл повернулся к бойцам. Сказал одно слово. Я не расслышала — ветер унёс.

Молодой боец снял рюкзак, достал из бокового кармана запечатанный пакет и протянул Кайлу. Тот взял его левой рукой — правая по-прежнему в перевязи — и пошёл ко мне.

— Стой, — повторила я. — Положи на землю. Отойди.

Он не остановился.

Он шёл — медленно, ровно, глядя мне в глаза. Десять метров. Девять. Восемь.

— Кайл, ты не слышишь? Я могу быть

Семь метров. Шесть.

— заразна, ты

Пять. Четыре.

Три.

Он остановился в трёх метрах. Положил пакет на землю. Выпрямился.

И сказал:

— Пять суток. Без симптомов. — Голос — ровный, низкий, без тени сомнения. — Ты чистая, Нот.

— Ты не можешь этого знать.

— Могу, — сказал он. — Я читал полевые протоколы. Максимальный инкубационный период — восемь часов для самого слабого штамма. Пять суток — это не инкубация. Это иммунитет.

— Штамм E-1 не описан в полевых протоколах. Он

— Сделай тест, — перебил он. Спокойно. Без нажима. Как тогда, когда сказал «ешь», протягивая шоколадку.

Я подняла пакет. Пальцы — негнущиеся, непослушные — разорвали упаковку. Ланцет. Тест-полоска. Микропипетка.

Прокол. Кровь. Капля на полоску.

Десять минут.

Кайл стоял в трёх метрах и ждал. Неподвижный, как камень, на который можно опереться.

Я сидела на пороге охотничьего домика и смотрела на тест-полоску, и мир сузился до двух сантиметров белого пластика, на которых медленно, мучительно медленно, проявлялся результат.

Одна полоска.

Контрольная.

И больше ничего.

Отрицательно.

Отрицательно.

Я выдохнула. Весь воздух, который копила пять суток, — выдохнула.

— Чистая, — сказала я. И голос, наконец, сломался по-настоящему — не от болезни, не от температуры. От чего-то другого. От того, что я пять суток ждала смерти, а она не пришла.

Кайл кивнул. Один раз. Коротко.

Потом шагнул вперёд, нагнулся и протянул мне руку. Левую.

Я посмотрела на его ладонь. Большую. Тёплую. Ту самую.

И взяла.

Он поднял меня — легко, как будто я ничего не весила, — и на секунду его рука задержалась в моей. На секунду дольше, чем нужно.

Потом отпустил. Повернулся к бойцам.

— Возвращаемся.

И всё.

Мы шли к базе. Не к «Эгиде» — к другой, ближайшей, откуда вышла группа Кайла. Двенадцать километров. Три часа. Кайл шёл рядом — не впереди, не позади. Рядом. И молчал. Как всегда.

Я несла рюкзак. Папки, носитель, письмо отца. Разбитый контейнер — тоже, завёрнутый в тройной слой бинта и упакованный в герметичный пакет, который дал один из бойцов Кайла.

Штамм E-1 был потерян. Ампула разбита. Биологический материал — разморожен и загрязнен. Для исследований — непригоден.

Но данные — целы. Носитель — цел. Два целых и семь десятых терабайта. В том числе — каталог «Антитеза». Зашифрованный, нераскрытый, ждущий.

Глава 9 «Рубеж»

Три дня.

Три дня на базе «Рубеж» — и я впервые за три года перестала считать часы.

Не потому что время остановилось. Не потому что исчезла угроза — угроза никуда не делась, она жила за бетонными стенами, в зелёном, равнодушном лесу, в мутирующих штаммах, в бандах мародёров, в самом воздухе, который мог стать ядом. Нет. Просто впервые за три года у меня было место, куда я не торопилась вернуться, и место, откуда не торопилась уйти.

Рядом был Эрик.

Рядом был брат.

В первый день мы говорили.

Долго, бессвязно, перескакивая с темы на тему, как люди, которые три года копили слова и теперь не знают, с каких начать. Эрик рассказывал о первых неделях пандемии — как его база была закрыта на карантин, как они потеряли связь со столицей, как он трижды отправлял разведгруппы ко дворцу и трижды они возвращались ни с чем. Дворец был пуст. Не разрушен — пуст. Двери открыты, окна целы, мебель на местах. Люди исчезли.

— Я нашёл мамин платок, — сказал он тихо. — В её кабинете. На спинке стула. Шёлковый, с монограммой. Больше — ничего.

Я рассказала ему о папках. О письме отца. О Хольме, о Штраусе, об «Эдеме» и «Антитезе». Он читал документы — медленно, тщательно, с тем же выражением лица, с каким когда-то читал военные сводки, — и я видела, как менялся цвет его глаз. Не буквально — голубые глаза Ингрид не меняли оттенка. Но что-то в них сдвигалось. Свет уходил глубже, как солнце за облако.

— Он пытался, — сказал Эрик, дочитав письмо. Голос ровный. Контролируемый. Но пальцы, державшие бумагу, были белыми от напряжения. — Он пытался, и его предали.

— Да.

— Хольм.

— Хольм. И не только он. Целая структура. Особый отдел. Люди, которых отец назначил. Которым доверял.

Эрик аккуратно сложил письмо по линиям сгиба и положил на стол.

— Если Хольм жив — я его найду, — сказал он. Спокойно. Без пафоса. Как констатацию факта. Как «завтра будет дождь» или «солнце встаёт на востоке».

Я не сомневалась.

Во второй день мы связались с «Эгидой».

Закрытый канал, та же частота, которую мне дал Левин. Эрик предоставил свою рацию — мощнее, с лучшей антенной, способную добить до базы без ретранслятора. Связь была рваной, с помехами, но голос Левина — хриплый, усталый, узнаваемый — пробился сквозь статику.

— Нот. Живая?

— Живая, товарищ майор.

Пауза. Длинная. Я знала эти паузы — Левин никогда не показывал эмоций на людях, но в паузах между словами прятал всё, что не мог произнести вслух.

— Твоя группа на базе, — сказал он наконец. — Вессен, Торик, Нара. Все целы. Нара работает с данными. Носитель — в дешифровке. Каталог «Антитеза» — ещё закрыт, но она говорит, что близко.

— Папки — у меня. Привезу лично.

— Когда?

— Завтра. Сержант Эннот организует транспорт.

Ещё одна пауза. Потом:

— Эннот?

— Да, товарищ майор, — я посмотрела на Эрика, стоявшего рядом. — Мой брат. Командир базы «Рубеж».

Левин молчал несколько секунд. Потом сказал — и в голосе его не было ни удивления, ни пафоса:

— Хорошо. Возвращайся, Нот. У нас много работы.

Связь оборвалась.

Я обернулась к Эрику. Он стоял, скрестив руки на груди, и на его лице было выражение, которое я помнила с детства, — сдержанная гордость. Не за себя. За меня.

— «Товарищ майор», — повторил он. — Мирея Эннот говорит «товарищ майор». Мама бы

— Мама бы поняла, — перебила я.

Он помолчал. Потом кивнул.

— Да. Она бы поняла.

Третий день.

Последний день на «Рубеже». Завтра утром — транспорт до «Эгиды». Бронированный вездеход, четверо бойцов сопровождения, маршрут — через контролируемые зоны, без риска. Двенадцать часов пути. Рюкзак с папками — при мне. Письмо отца — в нагрудном кармане.

Но до завтра — ещё целый день. И я не умела бездействовать.

Ноа встретила меня в медблоке с выражением человека, который одновременно счастлив и оскорблён.

— Вы хотите работать, — сказала она. Не вопрос — констатация.

— Хочу. Если есть что.

— Есть, — она вздохнула. — Есть, Нот. Боже, ещё как есть. Вчерашний патруль привёз четверых. Двое — осколочные, лёгкие, я справилась. Один — рваная рана голени, нужно зашить, но он глубокая, рваная, много карманов. Я — терапевт. Не хирург. Мои швы

— Покажи.

Она показала. Медблок «Рубежа» был маленьким — две койки, стол, шкаф с медикаментами, лампа на штативе. Меньше, чем в «Эгиде». Теснее. Но чистым — Ноа следила за стерильностью с фанатизмом, который я уважала.

Раненый с рваной раной голени лежал на первой койке — молодой парень, лет двадцати двух, бледный, с закушенной губой. Рана была скверной: рваные края, глубокие карманы в мышечной ткани, начинающееся нагноение. Ноа обработала поверхность, но внутрь не полезла — и правильно сделала. Без хирургического опыта она бы наделала больше вреда, чем пользы.

— Инструменты? — спросила я.

— Всё, что есть, — на столе.

Набор был скудным — скальпель, два зажима, пинцет, ножницы, шовный материал. Но мне хватало. Мне всегда хватало. Профессор Ланге говорил: «Хирург с хорошими руками сделает операцию кухонным ножом. Хирург с плохими руками не сделает и набором за десять тысяч».

Я вымыла руки — тщательно, до локтей, обработала антисептиком. Перчатки — поверх. Привычка, вбитая в мышечную память, как строевой шаг.

— Обезболивающее? — спросила я у Ноа.

— Лидокаин. Местный. Последние две ампулы.

— Одну хватит. Вторую сбереги.

Я работала два часа.

Рваная рана голени — дренирование карманов, иссечение некротизированных тканей, послышное ушивание. Парень скрипел зубами, но терпел. Я говорила с ним — ровно, спокойно,

как говорят с пациентами, — и руки делали своё дело, а голос делал своё. Два инструмента. Скальпель и слово.

После него — ещё один раненый, которого Ноа отложила на «когда-нибудь»: застарелый абсцесс на спине, требующий вскрытия. Я вскрыла, дренировала, наложила повязку. Пятнадцать минут.

Потом — женщина из обслуживающего персонала базы, с вросшим ногтем, который воспалился и грозил сепсисом. Мелочь, ерунда, амбулаторная процедура, но без хирурга — потенциальная смерть. Я удалила ноготь под местной анестезией.

Ноа стояла рядом и смотрела. Впитывала. Запоминала каждое движение, каждый захват, каждый узел.

— Вас учили хорошо, — сказала она, когда я закончила с ногтём.

— Меня учил Ланге, — ответила я. — Он говорил, что руки помнят. Он был прав.

— Вы могли бы остаться. — Она сказала это тихо, почти робко, как человек, который знает, что просит невозможного. — Здесь. На «Рубеже». Нам нужен хирург. Мне одной

— Я нужна на «Эгиде», — мягко перебила я. — Но я вернусь. И я научу тебя. Всеми, что знаю.

Она кивнула. Быстро, коротко. И отвернулась, но я успела заметить, как блеснули её глаза.

Он пришёл последним.

День клонился к вечеру. Свет в медблоке стал теплее — Ноа переключила лампу на экономный режим, и жёлтый конус сузился, оставив углы в полумраке. Я мыла инструменты — протирала каждый антисептиком, укладывала в стерильную ткань, — когда дверь открылась.

Кайл.

Он вошёл — и медблок стал маленьким. Не потому что он занимал много места — хотя занимал, — а потому что его присутствие заполняло пространство, как вода заполняет сосуд. До краёв.

Ноа подняла голову.

— Командир, — сказала она. — перевязка? Я могу

— Нет, — Кайл посмотрел на меня. — К ней.

Ноа перевела взгляд с него на меня. Потом — обратно. На её круглом лице мелькнуло понимание — быстрое, женское, безошибочное.

— Я буду в коридоре, — сказала она и вышла, прикрыв за собой дверь.

Мы остались вдвоём.

Кайл стоял у входа. Я — у стола с инструментами. Между нами — два метра и тишина.

— Садись, — сказала я, кивнув на койку.

Он сел. Койка скрипнула под его весом — жалобно, протестующе. Он положил руки на колени — обе, левую и правую, — и я увидела то, ради чего он пришёл.

Левая кисть.

Я видела её раньше — мельком, не присматриваясь. Большая ладонь, длинные пальцы, мозоли. Но сейчас, в конусе жёлтого света, я заметила: на тыльной стороне кисти, между костяшками среднего и безымянного пальцев, под кожей проступало уплотнение. Небольшое, размером с фасолину. Твёрдое. Неровное.

Осколок.

— Давно? — спросила я, подсаживаясь рядом и беря его руку в свои.

— Четыре года.

Четыре. Значит — ещё до «Рубежа». Ещё до Эрика.

Я пальпировала. Осколок сидел глубоко — врос в соединительную ткань, инкапсулировался, как умеет делать тело, обволакивая чужеродный предмет защитной оболочкой. Организм принял его, встроил в себя, научился жить с ним. Но не без последствий.

— Болит, — сказала я. Не спросила — увидела. По тому, как он непроизвольно сгибал и разгибал пальцы. По тому, как менялся хват, когда он брал оружие. По микродвижениям, которые обычный человек не заметил бы, но которые хирург читает, как текст.

— Ноет, — поправил он. — Когда холодно. Или когда сжимаю кулак.

— Четыре года ноет?

— Четыре.

— И ты молчал.

Он не ответил. Разумеется. Кайл и жалоба — два слова из разных словарей.

Я повернула его кисть к свету. Осмотрела. Продумала доступ.

— Я могу убрать, — сказала я. — Местная анестезия. Разрез по тыльной поверхности, между сухожилиями разгибателей. Выделение осколка из капсулы. Извлечение. Шов. Двадцать минут. Может, тридцать, если он врос в надкостницу.

— Делай.

Одно слово. Без вопросов, без уточнений, без «а это точно необходимо?». Делай. Он доверял мне свою руку — ту самую, которой держал оружие, которой нёс меня, которой протягивал шоколадку, — так же, как доверял себе.

Я подготовила инструменты. Скальпель. Пинцет. Зажим. Шовный материал. Антисептик. Лидокаин — вторая ампула, та, которую я велела Ноа сберечь.

— Ложись, — сказала я. — Руку — на стол. Ладонью вниз. Не двигай пальцами.

Он лёг на койку, вытянул левую руку на придвинутый столик. Я села рядом на табурет, включила лампу на максимум, направила конус света на кисть.

Обработка. Антисептик — обильно, от кончиков пальцев до запястья. Кожа под раствором блеснула, и я видела каждую линию, каждую мозоль, каждый мелкий шрам.

Анестезия. Инфильтрационная — вокруг осколка, по периметру, четыре вкола. Лидокаин входил в ткань, и Кайл не дрогнул. Ни при первом вколе, ни при втором, ни при третьем. На четвёртом он чуть сжал челюсть — я заметила движение желваков, — и всё.

Три минуты на развитие анестезии.

— Чувствуешь? — я коснулась кожи над осколком кончиком скальпеля. Без нажима. Тест.

— Нет.

— Хорошо. Начинаю.

Разрез. Продольный, три сантиметра, между сухожилиями третьего и четвёртого пальцев. Кожа разошлась — тонкая на тыле кисти, почти прозрачная, — открывая подкожную клетчатку. Мало жира. Мышцы. Сухожилия — белые, блестящие, тугие, как струны.

Я работала осторожно. Кисть — ювелирная территория. Здесь, на площади в несколько квадратных сантиметров, сходятся сухожилия, нервы, сосуды, — и одно неверное движение может лишить человека способности сгибать палец. Навсегда.

Осколок. Я увидела его — тёмный, неровный, обросший капсулой из соединительной ткани, как жемчужина в раковине. Только это была не жемчужина. Это был кусок металла, который четыре года жил в чужом теле и причинял боль.

Я выделила капсулу. Скальпелем — по краю, отслаивая ткань. Пинцетом — захватила осколок. Потянула.

Он не поддался. Врос. Не в надкостницу — в сухожильное влагалище. Хуже. Тоньше. Опаснее.

Я поменяла угол. Подрезала спайку. Ещё одну. Осколок качнулся — чуть-чуть, на миллиметр. Я потянула снова.

Он вышел.

Маленький, зазубренный, тёмный от окисления кусок металла. Размером с рисовое зерно. Четыре года боли — в одном рисовом зерне.

Я положила осколок на салфетку, наложила три аккуратных шва и подняла глаза.

Кайл смотрел на меня.

Не на руку — на меня. Тёмные глаза — те самые, бездонные, которые я так и не научилась читать — были близко. Очень близко. И в них было то, что я видела раньше — мельком, краем, не позволяя себе взглядеться, — но теперь, в жёлтом конусе хирургической лампы, в тишине пустого медблока, оно было обнажённым, открытым.

Не интерес. Не благодарность. Не уважение.

Нежность.

Это слово — нежность — было настолько чужим в моём словаре последних трёх лет, что я не сразу его распознала. Как иностранное слово, значение которого помнишь, но не можешь произнести.

Он поднял правую руку — здоровую, ту, что была в перевязи ещё два дня назад — и коснулся моего лица. Кончиками пальцев. Так, как касаются чего-то хрупкого. Чего-то, что боятся сломать.

Я замерла.

Его пальцы — тёплые, шершавые, пахнувшие оружейной смазкой и мылом — прошли по моей щеке. По линии скулы. По виску. Убрали прядь волос — тех самых, потемневших от золы, коротких, неровно обрезанных, — за ухо.

И он наклонился.

Медленно. Давая мне время отстраниться. Давая мне выбор.

Его губы коснулись моих.

Нежно. Так нежно, что я не сразу поняла, что это поцелуй. Прикосновение — лёгкое, осторожное, как первый снег, который ложится на ладонь и тает.

Я отстранилась.

Инстинктивно. Не потому что не хотела — потому что тело среагировало раньше сознания. Три года. Три года без прикосновений, которые не связаны с ранами, бинтами и кровью. Три года, в течение которых каждый физический контакт означал либо спасение, либо угрозу. Тело не знало третьего варианта.

Я отстранилась — на пять сантиметров, не больше — и посмотрела на него. Широко открытыми глазами, как человек, разбуженный посреди сна.

Кайл не двигался. Не настаивал. Не отступал. Он просто был — рядом, близко, в пяти сантиметрах, — и ждал. Как ждал у охотничьего домика, когда я делала тест. Как ждал на марше, когда я шла из последних сил. Терпеливо. Без давления. Без слов.

Его тёмные глаза смотрели в мои. И в них не было ни обиды, ни разочарования. Только то же самое — нежность. Тихая, глубокая, спокойная, как река, которая течёт, не спрашивая разрешения.

И я подумала — ясно, отчётливо, как диагноз:

Три года я выживала. Не жила — выживала. Считала патроны, считала бинты, считала потери. Строила стены. Закрывала двери. Не оставляла щелей.

Но человек, который живёт за стенами, — не живёт. Он прячется. И рано или поздно стены становятся тюрьмой.

Я посмотрела на свои руки. На его руку — левую, с зашитой раной, из которой я только что извлекла четыре года боли. На скальпель, лежащий на салфетке рядом с осколком.

Руки хирурга. Руки солдата. Руки принцессы, которая больше не была принцессой.

Руки женщины, которая забыла, что она женщина.

Я подалась вперёд.

И поцеловала его.

Не нежно — жадно. Так, как пьют воду после пяти суток в пустыне. Так, как вдыхают воздух, вынырнув из глубины. Всем телом, всем существом, с той отчаянной, звериной честностью, которой нельзя научиться и от которой нельзя спрятаться.

Его руки — обхватили меня. Притянули. Прижали. И он целовал меня в ответ — так же, как делал всё: без лишних слов, без колебаний, полностью.

Скальпель скатился со стола и звякнул об пол.

Его руки — обе, обхватили меня. Притянули. Прижали. И он целовал меня в ответ — так же, как делал всё: без лишних слов, без колебаний, полностью.

Я чувствовала его — целиком. Жар тела сквозь грубую ткань формы. Твёрдость мышц под моими ладонями. Биение пульса в шее — частое, сильное, не такое, как обычно. Пульс человека, который горит.

Он горел. Тихо, глубоко, как торф, который тлеет под землёй и вспыхивает, когда до него наконец добирается воздух.

Я оторвалась от его губ. Не потому что хотела остановиться — потому что не могла дышать. Его лицо было в сантиметре от моего, и я видела то, чего не видел никто: трещины в каменной стене. Его зрачки — расширенные, чёрные, поглотившие радужку. Приоткрытые губы. И дыхание — рваное, горячее, неровное. Дыхание человека, который три года держал всё внутри и сейчас впервые не мог удержать.

— Не здесь, — сказала я.

Он кивнул.

Комната, которую мне выделила Ноа, была в тридцати шагах по коридору. Тридцать шагов. Мы прошли их молча, рядом, не касаясь друг друга. Не потому что не хотели — потому что если бы коснулись, не дошли бы.

Дверь. Я вошла первой. Он — за мной. Закрыл дверь. Повернул защёлку.

Темнота.

Не полная — сквозь щель под дверью пробивалась тонкая полоска коридорного света, и в этом слабом, призрачном свечении его силуэт был огромным, заполняющим пространство.

Мы стояли в полуметре друг от друга. Я слышала его дыхание. Он слышал моё.

Потом он протянул руку — левую, забинтованную — и коснулся верхней пуговицы моего кителя. Одним пальцем. Не расстёгивая. Спрашивая.

Я накрыла его руку своей и расстегнула сама.

Первая пуговица. Вторая. Третья. Каждая — как шаг через порог. Каждая — как щель в стене, которую я три года строила и которая сейчас рушилась, и я не останавливала, потому что впервые не хотела останавливать.

Китель упал на пол. Под ним — термобельё, грубое, армейское, пахнущее потом и антисептиком. Я стянула его через голову, и прохладный воздух коснулся кожи — и я вздрогнула. Не от холода. От того, что впервые за три года стояла перед кем-то без брони. Без формы. Без нашивки. Без «Р. Нот. Медкорпус».

Просто кожа. Просто я.

Он смотрел. Я видела это даже в полумраке — как его взгляд прошёл по мне. По ключицам, по рёбрам, по животу, по шраму на правом боку — свежему, розовому, ещё болезненному. По мышцам, которых не было три года назад. По телу, которое война перекроила под себя — убрав мягкость, добавив углы, заменив фарфор на сталь.

Он не отвёл глаз. Не поморщился. Не проявил ни капли разочарования от того, что передо ним стояла не фарфоровая принцесса из сказки, а живая, битая, исцарапанная женщина с шрамами и мозолями.

Он смотрел так, будто она — я — была самым красивым, что он видел в своей жизни.

Потом он поднял правую руку — ту, с заживающим швом, — и коснулся шрама на моём боку. Кончиками пальцев. Осторожно, невесомо, как трогают раненую птицу. Провёл по краю — от начала до конца. Словно читал историю, записанную на моей коже.

Я положила ладонь на его грудь. Он был всё ещё одет. Я почувствовала под тканью — жар, мышцы, сердце. Сердце билось быстро. Быстрее, чем я когда-либо слышала у него — включая момент, когда я извлекала из него пулю.

— Тогда ты не боялся, — сказала я тихо.

Он понял.

— Тогда — нет, — ответил он. Голос — ниже обычного. Хриплый. — Сейчас — да.

Кайл боялся. Два метра роста и молчания — боялся. Не пули, не вируса, не смерти. Меня. Того, что происходило между нами. Того, что нельзя контролировать, нельзя просчитать, нельзя обезвредить, как мину.

Я потянула его форму вверх. Он помог — одной рукой, потом другой, через голову, морщась, когда ткань прошла по шву на плече. Форма упала рядом с моим кителем.

Его тело было картой. Шрамы — дорогами. Я читала их пальцами, как слепой читает шрифт Брайля. Длинный, рваный — на левом предплечье. Круглый, вдавленный — на рёбрах справа. Мой шов — на правом плече, ровный, аккуратный, уже затянувшийся розовой кожей. И десятки мелких — порезы, ссадины, ожоги, — которые он, наверное, даже не помнил.

Он тоже читал меня. Ладонями — широкими, тёплыми, шершавыми, — которые двигались по моей спине, по позвоночнику, по лопаткам. Медленно. Бережно. Так, словно собирал осколки чего-то хрупкого и боялся порезаться.

Мы опустились на койку. Она была узкой — военная, одноместная, не рассчитанная на двоих, тем более когда один из двоих — под два метра ростом. Но мы поместились. Потому что между нами не осталось расстояния.

Он лёг надо мной — опираясь на левую руку, правую прижимая к моему бедру — и его вес, тяжёлый, тёплый, живой, лёг на меня, как одеяло. Не давил — укрывал.

Я обняла его за шею. Притянула. Наши губы встретились — и этот поцелуй был другим. Не жадным, не отчаянным, как в медблоке. Медленным. Глубоким. Таким, после которого не нужно дышать, потому что дыхание становится общим.

Его ладонь скользнула по моему бедру — вверх, по внешней стороне, по тазовой кости, по впадине талии. Каждое прикосновение — осознанное. Каждое — вопрос. Можно? Здесь? Так?

Я отвечала телом. Не словами — словами я не умела. Разучилась. Или никогда не умела — откуда бы? Дворцовое воспитание учило танцевать, а не любить. Учило держать спину, а не отпускать себя.

Но тело знало. Тело помнило то, чему не учат в университетах и дворцах. Древнее, дословесное, довирусное знание — просто быть рядом, просто касаться, просто чувствовать, что ты не одна.

Он вошёл в меня — и мир, сузившийся до размеров койки, до темноты, до двух тел и двух сердец, — замер. На секунду. На вдох.

Потом — качнулся. Медленно, мощно, как прилив. И я двигалась вместе с ним — подстраиваясь под его ритм, находя его дыхание, теряя своё, находя снова, — и это было похоже не на то, что описывают в книгах, не на страсть и не на экстаз, а на что-то более простое и более сильное.

На возвращение домой.

Его лоб — влажный, горячий — прижимался к моему. Его дыхание — рваное, сбивающееся — смешивалось с моим. И в какой-то момент я почувствовала, как его рука — левая, забинтованная — нашла мою руку и переплела пальцы. И сжала. Крепко. Так крепко, что я ощутила его пульс сквозь бинт — быстрый, яростный, живой.

Мы не говорили. Ни слова. Ни имени. Ни звука, кроме дыхания и шороха армейского белья на узкой койке.

Но в тишине — в этой полной, бетонной, подземной тишине — я слышала всё, что он не мог сказать. Всё, что копилось за стеной молчания, за односложными ответами. Годы одиночества. Годы войны. Годы, в течение которых он нёс на себе чужие жизни и не позволял себе остановиться.

Он остановился. Здесь. Со мной. Впервые — остановился.

И я — остановилась.

Волна пришла — тёплая, мощная, поднимающаяся откуда-то из глубины, из того места, где жили надежда и страх, и вера, и боль, — и накрыла нас обоих. Одновременно. Его тело напряглось — каждая мышца, каждое сухожилие — и на секунду он стал не камнем, а человеком. Уязвимым, открытым, живым. И я увидела его лицо — в полумраке, в полоске света из-под двери — и на этом лице не было маски. Впервые. Только он. Настоящий.

Он выдохнул. Должно, медленно, как человек, который нёс что-то тяжёлое и наконец — наконец — поставил на землю.

Потом — лёг рядом. Повернулся на бок. Притянул меня к себе — одной рукой, бережно, как притягивают что-то бесценное. Уткнулся лицом в мои волосы.

И замер.

Мы не говорили.

Потом — после, в тишине маленькой комнаты, которую Ноа выделила мне для ночлега, — мы лежали рядом, и я слушала его дыхание. Ровное, глубокое, как у человека, который впервые за долгое время заснул без настороженности.

Комната была крошечной — койка, табурет, крючок на стене. Свет — выключен. Темнота — полная, абсолютная, бетонная. Только дыхание. Его и моё.

Его рука — левая, с моей повязкой на тыльной стороне кисти — лежала поперёк моей груди. Тяжёлая, тёплая, неподвижная. Якорь. Точка опоры в мире, где точек опоры не осталось.

Я не думала о последствиях.

Впервые за три года — не думала. Не считала. Не планировала. Не оценивала риски, не просчитывала варианты, не строила защитных конструкций.

Просто лежала. Просто дышала. Просто чувствовала тепло тела рядом и слушала, как бьётся его сердце — ровно, мощно, надёжно, как генератор, который не остановится.

Кайл шевельнулся во сне — повернул голову, уткнулся лицом в мои волосы. Выдохнул. И я почувствовала, как его губы — невесомо, бессознательно — коснулись моего виска.

Я закрыла глаза.

Утро пришло — серое, тихое. Я проснулась первой. Кайл спал — на спине, одна рука — под головой, другая — на моём бедре. Лицо — расслабленное, непривычно мягкое, без этой вечной маски. Во сне он выглядел моложе. Человечнее. Живее.

Я смотрела на него и думала о том, что через три часа уеду. И не знала, когда вернусь. И не знала, вернусь ли. Потому что в нашем мире «вернусь» — это не обещание, а надежда. А надежда — это тонкий трос над пропастью.

Но трос держал.

Три года держал — и ещё подержит.

Я тихо встала. Оделась. Застегнула китель. Поправила нашивку: Р. Нот. Медкорпус.

И вышла из комнаты, не оглядываясь.

Не потому что не хотела оглянуться.

Потому что знала: он будет здесь. Когда я вернусь — он будет здесь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.